

ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
КОНЕЦКИЙ

Среди мифов и рифов



✦ РУССКАЯ КЛАССИКА ✦

За Доброй Надеждой

Виктор Конецкий
Среди мифов и рифов

«Издательство АСТ»

1972

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)1-44

Конечкий В. В.

Среди мифов и рифов / В. В. Конечкий — «Издательство АСТ»,
1972 — (За Доброй Надеждой)

ISBN 978-5-17-149658-6

«Среди мифов и рифов» – одна из самых веселых и лиричных книг Виктора Конечкого. Когда она впервые вышла в 1972 году, ею зачитывалась вся страна. Теперь «Среди мифов и рифов» по праву занимает место среди классических произведений русской маринистики. Морские рассказы и повести Конечкого и автобиографичны, и о людях, которые ему встречались на жизненном пути. Основным фоном произведений Виктора Конечкого было море, но писал он, прежде всего, о душе человека. В разговоре Виктора Конечкого с читателем всегда есть место и юмору, и грусти, и надежде на спасение в резко меняющемся мире. Возможно, именно поэтому его произведения уже более чем полвека не оставляют равнодушными несколько поколений читателей.

УДК 821.161.1-3
ББК 84 (2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-17-149658-6

© Конечкий В. В., 1972
© Издательство АСТ, 1972

Содержание

Корабли начинаются с имени	6
Разгрузка в Сорри-доке	10
Ленинград – Гибралтар	28
Хандра	36
Осина открывает острова	45
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Виктор Викторович Конецкий

Среди мифов и рифов

Изучение географии включает немаловажную теорию – теорию искусств, математики и естественных наук и теорию, лежащую в основе истории и мифов (хотя мифы не имеют никакого отношения к практической жизни). Например, если кто-нибудь расскажет историю странствований Одиссея, Менелая или Ясона, то не следует думать, что он поможет этим практической мудрости своих слушателей, разве только присоединит к своему рассказу полезные уроки, извлеченные из несчастий, которые герои претерпели. Эти рассказы все же могут доставить высокое наслаждение слушателям, интересующимся местами, где зародились мифы. Ведь практические деятели любят подобные занятия, потому что эти места прославлены, а мифы полны прелести. Однако такие люди интересуются всем этим недолго: ведь как это и естественно, они больше заботятся о практической пользе.

Страбон. «География»

© Виктор Конецкий, 2023

© ООО «Издательство АСТ», 2023

Корабли начинаются с имени

Судно – единственное человеческое творение, которое удостоивается чести получить при рождении имя собственное. Кому присваивается имя собственное в этом мире? Только тому, кто имеет собственную историю жизни, то есть существу с судьбой, имеющему характер, отличающемуся ото всего другого сущего.

«И люди, и суда живут в непрочной стихии, подчиняются тонким и мощным влияниям и жаждут, чтобы скорее поняли их заслуги, чем узнали ошибки... В сущности, искусство власти над судами может быть более прекрасно, чем искусство власти над людьми. И как все прекрасные искусства, оно должно опираться на принципиальную, постоянную искренность». Это сказал Джозеф Конрад.

Каждое судно начинается с имени. У автомобилей, самолетов или ракет имен нет, только номера или клички.

Нет на планете и живых памятников. Бронзовые и каменные монументы мертвы, как бы величественны и прекрасны они ни были. Имена знаменитых людей остаются в названиях континентов и городов, дворцов и бульваров. Но даже самый живой бульвар – это мертвый памятник. Только корабли – живые памятники. И когда ледоколы «Владимир Русланов» и «Афанасий Никитин» сердито лаются в морозном тумане, в лиловой мгле у двадцать первого буя при входе в Керченский пролив, то их имена перестают быть именами мертвецов. Об этом сказано много раз. И все равно опять и опять испытываешь радостное удовлетворение от неожиданного общения с хладнокровным, но азартным и честолюбивым Руслановым или лукавым и трепливым Афанасием, хотя от них давным-давно не осталось даже праха.

Смысл жизни судна – движение. Любое движение в пространстве есть непрерывная смена обстоятельств и свойств среды вокруг. Чем сложнее существо, тем заметнее оно реагирует на притяжение Луны, влажность, холод и жару, плотность космических излучений, напряженность магнитного поля. И чем сложнее существо, тем таинственнее его связь с собственным именем. Имя влияет на человеческий характер и судьбу. И в этом тоже нет мистики.

В справочниках у фамилии Челюскина стоят в скобках два вопросительных знака. Известны даты его рождения и смерти. Это говорит в первую очередь о том, что мы ленивы и не любопытны к великим предкам.

Семен Иванович Челюскин был полярным штурманом. О белых медведях, когда их было много вокруг, говорил: «Якобы какая скотина ходит».

На руках штурмана умер от цинги лейтенант Василий Прончищев. Челюскин принял командование кораблем.

Это было в 1736 году в устье Хатангской губы, где тогда «знатное дело, льды отнесло далече в море».

Через тринадцать дней после мужа умерла на руках Челюскина жена лейтенанта Прончищева Мария – первая женщина, принимавшая участие в арктической экспедиции.

Следующий раз Семен Иванович пошел к северу Европы и Азии под рукой крутого мужчины Харитона Лаптева.

24 августа 1740 года они потерпели аварию в широте 75° 30' 0" на дубль-шлюпке «Якутск»: «Во время поворота назад течением и ветром дубль-шлюпку льдами затерло, а потом по отломлении форштевня все судно в неудобность повредило».

15 миль до берега по льдам они добирались трое суток и зазимовали на Таймыре. «Изнуренные трудами, отчаявшиеся в спасении на этом пустынном и диком берегу, некоторые подняли было ропот, говоря, что им все равно умирать – работая или не работая; однако ж мужественный начальник строгим наказанием зачинщиков восстановил дисциплину».

И тихий ропот собравшихся раньше времени умирать, и «нерегулярные и неистовые слова» буйных головушек командиры пресекали кошками. Социологических исследований психологического климата на зимовке не вели, но людей спасли, исполняя приказ Петра: «Никто из обер- и унтер-офицеров не должен матросов и солдат бить рукой или палкой, но следует таковых, в случае потребности, наказывать по малой вине концом веревки толщиной от 21-й до 24-х прядей». За нарушение правил гигиены – курить можжевельником в морском жилье – Петр на первый раз велел бить нарушителей «у мачты», на второй, бив у мачты, отправлять на год на галеры. Мачты после гибели дубль-шлюпки не было. Били у бревна.

20 мая 1742 года Челюскин вышел к самому северному окончанию Европы и Азии. Он написал в дневнике: «Сей мыс каменный, приярый, высоты средней. Около оною льды гладкие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный северный мыс. Здесь поставил бревно, которое вез с собою».

Сто девять лет подвиг Челюскина подвергался сомнению, а он сам издевательствам. Сомневались и издевались люди бывалые, но на самом Восточном северном мысе ни с бревном, ни без оною не бывавшие.

Ф. Врангель и академик Бэр утверждали, в частности, что штурман Челюскин, «чтобы развязаться с ненавистным предприятием, решился на неосновательное донесение».

В 1851 году А. Соколовым все обвинения были сняты документально. Особенно горячо, по свидетельству Визе, за честь Семена Ивановича вступился А. Миддендорф, который присвоил имя штурмана мысу. И написал: «Челюскин не только единственное лицо, которому сто лет назад удалось достичь этого мыса и обогнуть его, но ему удался этот подвиг, не удавшийся другим, именно потому, что его личность была выше других. Челюскин, бесспорно, венец наших моряков, действовавших в том крае».

Скромность украшает человека, но делает это без спеха.

В сентябре 1933 года пароход «Челюскин» проходил мыс Челюскина. Капитан Воронин отсалютовал мысу тремя традиционными гудками. На душе капитана скребли кошки толщиной от 21 до 24 прядей.

Отгудев, Воронин спустился в каюту и записал в дневник: «Как трудно идти среди льдов на слабом “Челюскине”, к тому же плохо слушающемся руля». Капитан Воронин был из древней поморской семьи. Он привык прислушиваться к предчувствиям.

В Первую мировую войну пароход под именем Челюскина привез из Лондона в Архангельск взрывчатку. В Бакарице пароход взлетел на воздух. Вероятно, это была работа немецких диверсантов. Воронин оказался свидетелем гибели судна.

Новому «Челюскину» Воронин не доверял и считал, что имя у него невезучее.

Существует неписаная морская традиция – не называть новые суда именами погибших судов. Нет на свете нового «Титаника», нет «Лузитании». Исключение делается для боевых кораблей, погибших в сражениях. Взорванный в Бакарице пароход, вероятно, приравняли к ним. Традиция оказалась нарушенной.

Тринадцатого февраля 1934 года на 68° северной широты и 172° восточной долготы новый «Челюскин» затонул. Глубокая у него могила...

Воронин, как положено, ушел последним. Самые дурные предчувствия капитана оправдались. До своего конца Воронин не мог забыть завхоза, сбитого бочками на палубе уходящего под лед парохода.

Героизм челюскинцев приветствовал весь мир. Даже скуповатый на автографы фантаст Герберт Уэллс и его язвительный антипод Бернард Шоу сочли долгом лично подписать приветственные телеграммы.

В 1936 году в первый рейс вышел с ленинградского судостроительного завода первый советский теплоход «Челюскинец». В его названии на дальнем плане маячил Семен Челюскин, на среднем – «Челюскин» и на крупном – недавние подвиги челюскинцев.

В марте 1940 года теплоход, следуя из Нью-Йорка в Ленинград, при подходе к Таллинскому рейду выскочил на каменистую банку. Поднявшимся штормом судно переломило на две части. Носовая осталась на мели, а кормовую понесло ветром. Корму поймали милях в семи от носа, что дало возможность говорить легкомысленным морским острякам, что «Челюскинец» – самое длинное на планете судно. В суровые дни блокады рабочие Кировского завода сшили две половины. И после войны «Челюскинец» продолжал плавать.

Первый раз я миновал мыс Челюскина летом 1953 года на среднем рыболовном траулере по пути из Беломорска во Владивосток.

Мыс мрачен и тосклив. На нем полярная станция.

Мы пробирались близко от берега по узкой полынье. Южные ветры немного отогнали лед от берега. И мы влезли в эту щель.

Зимовщики увидели караван, первые после долгой зимы суда. Зимовщики входили в воду, расталкивая льдины баграми, и махали нам шапками.

И мы несколько раз выстрелили из винтовки, отдавая им и Семену Ивановичу салют, не записанный ни в каких протоколах.

С мыса ответили ракетой.

Осенью шестьдесят восьмого года судьба привела на самый длинный в мире теплоход. Он был уже здорово стар. Уже побаивался открытых океанов и даже малосольных льдов Финского залива. Мы работали на коротких рейсах вокруг Европы.

Богатая родословная нашего теплохода порождала иногда забавные казусы. Так, например, при отходе из Ленинграда на Гданьск рысьеглазый лейтенант-пограничник с молодым рвением обнаружил у нас на борту нарушителя. Им оказался отличник комтруда моторист Смирнов.

– Откуда у вас на борту этот человек? – зловеще спросил лейтенант, тыкая в моториста его паспортом.

Мы объяснили, что этот человек плавает здесь четвертый год.

– Как он может плавать здесь, если он с другого судна? – еще более зловеще спросил лейтенант.

– Почему он с другого? Он с этого!

– А это что? – торжествующе спросил лейтенант, тыкая пальцем в паспорт моториста. Там в графе «Название судна» стояло: «ЧЕЛЮСКИН» – вполне понятная описка дамы-писаря из отдела кадров.

– Но, товарищ лейтенант, ведь такого судна сейчас вообще нет в природе! Оно утонуло в тридцать четвертом. Тебе сколько тогда было, Смирнов?

– Нисколько не было! – сказал перепуганный моторист.

– Как же оно утонуло, если тут черным по белому: «ЧЕЛЮСКИН»?

Лейтенант, конечно, через часок все понял, но потребовал замены паспорта. Но самое смешное, что он еще написал докладную на своих коллег в Таллине, Керчи и других портах. Коллеги четыре года табанили, выпуская Смирнова с неточным документом. Но они, в свою очередь, быстренько выяснили, что сам рысьеглазый выпускал Смирнова трижды из Ленинграда на утонувшем давным-давно пароходе. И только в четвертый раз его ущучил. В результате рысьеглазый получил самую большую нахлобучку.

Странная вещь – одухотворенность старого судна, покосившейся избы, растрескавшегося комода.

В ночные тихие вахты толпились в угловатой рубке старомодного теплохода сотни теней. Это были тени тех, кто отдал холодной стали свое тепло в прошлые десятилетия. Заходил и сам Семен Иванович, и Эрнест Кренкель, и моряки, взлетевшие на воздух в Архангельске, и капитан Воронин, и Мария Прончищева, и блокадные работяги.

Разгрузка в Сорри-доке

*В Англии четыре миллиона собак, шесть миллионов кошек,
восемь миллионов птиц в клетках, двадцать пять тысяч официально
зарегистрированных привидений.*

Где-то читал в газетах

В центре Северного моря тяжело колыхается и гудит буй по имени Пит. Его зовут еще Большой Пит. От Пита до Лондона уже близко, от него пахнет Англией. Опасно не усмотреть Пита, не засечь его радаром. Это и несколько позорно.

Когда я высматриваю Пита среди серых волн, в тумане, в промозглости и холодных брызгах, и когда я вдруг вижу колышущуюся точку, то говорю:

– Здорово, Пип!

Пита я давно перекрестил в Пипа. И дядюшка Диккенс берет нас под свое покровительство, ведет к себе домой. И тощая сварливая супруга невозмутимого Джо режет хлеб, прижимая его к груди и наталкивая в буханку иголки и булавки.

Англия начинается для меня с детских книжек.

Когда плывешь по Темзе и гладишь брюки, одновременно через иллюминатор каюты разглядывая чумазый буксир «Джозеф Конрад», то можешь брюки спалить. Если это новые, с великим трудом сшитые брюки, то обидно. Еще обиднее, если считаешь себя выдающимся мастером по глажке флотских брюк.

Корень неприятности не только в том, что я гладил и одновременно пялил глаза на Темзу и «Джозефа Конрада». Просто привык к суконным брюкам: старомоден, отстал от века. В результате поднял утюг вместе с полотенцем, через которое гладил, и большим куском синтетических брюк.

На запах паленого прибежал первый помощник Коля Кармалин. Он даже не удивился. Сказал:

– Опять?

Не везло мне с разными предметами туалета. То капитану не понравились белые канты на пилотке подводника, которую я носил для удобства. И я замазал канты тушью. При первом дожде тушь потекла и воротник белой нейлоновой рубашки оказался навсегда небелым. Еще в Ленинграде полу плаща затянуло в блок. Но вот – брюки... Я хотел их сразу выкинуть в Темзу – Коля не дал. Он был хороший человек и оптимист, считал, что есть на планете мастерские, где в брюки вставляют новые куски.

Темза – рабочая река. Я еще не видел рек, которые работали бы так монотонно, непрерывно, привычно. Как здоровенная ломовая лошадь. Сколько она несет на себе судов, барж, буксиров, паромов... И все безропотно, без кнута, без окрика. Между болот. Под серым, дымным небом. Хорошая, добрая лошадь Темза. То длинно вздохнет приливом, то тихо выдохнет, отливом.

Гринич стоит на плесе Гринич-Рич. Там на причале горят два красных вертикальных огня. И видны высокие мачты парусника. Это «Кати-Сарк» спит в сухом старинном доке на нулевом меридиане. Теперь «Кати-Сарк» стало веселее. Появилась рядом внучка – маленькая знаменитая «Джипси-Мот». Ее тоже можно увидеть прямо с середины Темзы.

С плеса Лаймхаус Рич мы завернули в бассейн Гринленд через первый шлюз Суррей-Коммершел-дока. Моряки всего мира называют его просто Сорри-док.

При швартовках мое место было на корме. С кормы мало видно. Что там с нами буксир делает, куда мы летим, зачем – это все на мостике известно. Тьма была уже полная. На другой стороне Темзы неярко мигали рекламы пива, овсяных хлопьев и электрических бритв «Филиппс».

Угол шлюза приближался быстрее, чем мне хотелось. На углу мигала мигалка. Я докладывал на мостик дистанцию до стенки все более тревожным голосом. С мостика, как положено, напоминали: «Кранцы! Кранцы!» Матросики висели с кранцами головами вниз.

Все было проделано согласно правилам хорошей морской практики, но прикосновение к английской земле оказалось довольно крепким. Во всяком случае, такого красивого столба искр, какой высек наш старый теплоход из старых камней Сорри-дока, я давно уже не видел.

Естественно, мостик объяснил мне кое-что про мои глаза, мой глазомер, умение определять дистанцию и другие морские качества.

Как потом выяснилось, Юрий Петрович во времена, когда он был вторым помощником, швартовал пароходы прямо с кормы вместо капитана. А я оказался не на высоте.

Наконец из динамика вылетел деловой вопрос: «Шлюз цел?»

Темно было. И непонятно: цел шлюз или завалился вдребезги.

– Не вижу! – доложил я. – Искр было довольно много.

– Это мы и сами видели! – пробрюзжал мостик.

И все затихло.

Швартовщики приняли швартовы и положили на кнехты. Они и голов не поднимали. Они не такие здесь штуки видели, чтобы на каждую искру реагировать.

Куда интереснее было мне: что там с нашими старыми заклепками стало, живы они или вылетели?

Ноябрьская, дрянная, дождливая ночь наваливалась на Лондон. Склады подступали к докам со всех сторон. И город, один из самых гигантских городов на земле, исчез, хотя мы были почти в центре его. Такое ощущение бывает на вокзалах и сортировочных железных дорог. Знаешь, что город рядом, но трудно поверить в это.

Насосы сделали свое дело, ботопорт открылся, и под разводным мостом мы проскользнули в Сорри-док. Теперь нам начхать на приливы и отливы. Лоцман поставил теплоход на бочки посередине бассейна Канада.

Явились всевозможные власти и сделали свое черное дело: опечатали судовые галюны и артелку. Мы имели право оставить себе по сто сигарет. На остальные повесили замок. В туалет следовало ходить на берег. Для связи с берегом катер натолкал между бортами и причалами пустые маленькие баржи. На всех баржах крупными буквами было написано: «Сэр Уильям Барнетт и К°».

В моей каюте стойко держался запах сожженных флотских брюк.

– Вот ты и в столице Британской империи, – сказал я своему отражению в зеркале, щеткой отмывая руки. – Что ты испытываешь?

В журнале «Россия XX века», выходившем в Англии во время Первой мировой войны, была напечатана статья Голсуорси «Русский и англичанин».

Голсуорси отмечал, что англичанин «хозяин своего слова... почти всегда; он не лжет... почти никогда; честность, по английской поговорке, – лучшая политика. Но самый дух правды он не особенно уважает».

Русский любой ценой стремится достичь предела понимания с другим человеком. (Помните наше знаменитое пьяное: «Ты меня п-понимаешь?»)

Англичанину важнее всего сохранить иллюзию.

Голсуорси говорит, что мы далеко превзошли англичан в стремлении все выворачивать наизнанку, чтобы докопаться до сути. И что мы завидуем английскому практицизму, здравому

смыслу, веками выработанному умению понимать то, чего в жизни можно добиться, и умению выбирать самые лучшие и простые способы достижения. Англичанам же следовало бы завидовать нам потому, что мы «не от мира сего».

Голсуорси считал свою нацию наименее искренней из всех наций. Потому его так глубоко потрясала и завораживала наша классическая литература. Через нее он во многом точно и глубоко проникал в нас. Он писал: «Не воображайте, что если вам хочется привить русской душе практичность, действенность, методичность, то вы можете позволить себе шутить шутки со своей литературой». Он имел в виду практицизм и служение литературы мелким близким целям.

О нашем будущем классик английской литературы был чрезвычайно мрачного мнения. Он считал, что мы не способны остановиться на чем-нибудь определенном.

От Голсуорси я еще узнал, что слово «ничего» в смысле: «Ничего – проживем, перебежмся!» – чисто русское слово, хорошо выражающее наш фатализм. Англичане придумали «пока!».

Утро.

Черная вереница людей в утренней полутьме, в мутном свете высоких фонарей, на фоне бесконечных пакгаузов. Прыгают на палубы маленьких барок, карабкаются через штабеля русских досок, поставив под навесы хилые велосипеды. Лондонские докеры. От слова «док». Из Сорри-дока разошлось это слово по всем морям и океанам.

Поднимаются на борт, разбираются по трюмам, снимают пальто. Под пальто на левом плече – крюк. Страшная штука – крюки грузчиков. Белое жало, плавный, как у серпа, изгиб, отполированная ладонью рукоять. Не дай господь увидеть такой крюк над головой.

Кое-кто в белых касках с «дубль ве» на лбу, остальные в кепках. Сумочки с бутербродами. У бригадира деревянный ящик-сундук.

Бригадир, вероятно, уже «сэлф мэйд мэн» – «человек, сделавший себя сам», по местному выражению. Джеймс Кук, к примеру, тоже сделал себя сам.

Надевают куртки. Брезент, поддельная замша, военная маскировочная ткань. На всех грузчиках мира можно и сегодня увидеть военные обноски. Под обносками может торчать галстук.

Лебедчиков сразу отличишь от грузчиков: часто седые уже совсем, могут быть в очках, куртки у них чище и дороже.

Сонные, чешутся, зевают, кашляют.

Туман над сонной водой Сорри-дока. Слабо светятся окна в высотных зданиях на берегу. Ни реклам, ни городского шума.

Заглядывают в трюмы. Из трюмов – как из ледника. Кое-где белеет снег на русских досках, – ленинградский снежок привезли мы в Лондон. А рукавиц у знаменитых докеров нет. Дорогое дело рукавицы. И носовых платков у них нет. Для этого дела существует международный носовой платок – большой и указательный пальцы.

Сейчас все вместе они начинают перевооружать наши стрелы на свой манер. А работать будут каждый сам за себя. Каждый надергает крюком свой пакет досок, уложит – застропит.

Сижу в каюте, жду стивидора. Не повезло мне – первый день выгрузки, а я еще и вахтенный помощник.

Является боцман.

– Виктор Викторович, что они с нашими стрелами делают?

– Не могу понять.

– Запретите им наше грузовое устройство трогать!

– Семеныч, знаешь закон: не говори с толпой, говори с начальником. Придет стивидор – разберемся.

– Я тут двадцатый раз, а такого безобразия не было. Они бочки с собой притащили, к оттяжкам крепят. Запретите!

Начинается! Боцману что-то непонятно, боцману не хватает определенности. Как будто мне ее хватает хоть в чем-нибудь! Да я за ней, может быть, уже двадцать лет по морям охочусь... Голсуорси, между прочим, так объяснял отсутствие у Чехова романов: чем длиннее произведение, тем более нужно, чтобы в нем случилось что-то определенное...

– Семеныч, – говорю я. – Разберемся. А вахтенного у трапа никакой работой не занимай. Буду следить все время! Пока!..

Ровно в девять появляется толстый пожилой мистер – стивидор, руководитель разгрузки. От него уже сильно потягивает спиртным. Как он рад со мной познакомиться! всю жизнь он мечтал встретить такого мейта! Американцы – дрянь, а не мужчины! А с русскими у него все всегда ол райт! Его лучший друг – русский капитан Юра Павлов. Знаю я Юру Павлова?..

Где британская сдержанность и малословие? Минут десять я уясняю то, что он болтает. Потом выволакиваю на палубу. Совсем ему не хочется на свежий воздух, вернее в смог. Ему хочется посидеть в каюте секунда, покурить.

Спрашиваю, чего тянут резину его люди, что делают из наших грузовых устройств и вообще: «Вас ис дас, каррамба?» Я уже опытный, подозреваю: по-русски он понимает изрядно, но хитрит. Выгодно слушать и делать отсутствующую рожу. В большинстве портов так. А станем прощаться – засмеется и признается. Или не признается. Это зависит от степени сволочизма. А иногда и действительно не знает ни звука – поди разберись!

Его докеры уже принайтовили к оттяжкам здоровенные бочки из-под бензина и требуют воды. Какой воды – вон ее сколько в Сорри-доке – лей, не хочу!

– Смотрите на француза, – тихо выдавливают боцман. Он уже уловил суть происходящего.

У стенки дока справа от нас стоит французское судно, его грузят пиломатериалами. Видно, как английское изобретение – бочка-противовес – то опускается к самой воде, отводя стрелу за борт, то поднимается. Рационализация. В бочку надо налить воды – пустая бочка, естественно, ничего не весит. Но как туда воды налить? Не ведром же ее из-за борта черпать. Надо пожарный насос запускать, давать воду в пожарные рожки на палубу.

Звоню в машину. Вахтенный механик хохочет: вы что, собрались палубу мыть?

Объясняю.

Докеры уже стряхнули сон, развлекаются как умеют. Один присел от ветра на корточки, курит, другой подбирается к нему сзади, как тигр, поддевает носком ботинка под зад и переворачивает головой вперед. Весело всем. Парень стоит, в одной руке термос, в другой бутерброд – не успел дома позавтракать. Ему просовывают доску между ног, а руки у паренька заняты – как ему обороняться? Опять весело. Во всем мире у солдат и грузчиков шутки одни и те же.

Стивидор смывается с борта.

Вода пошла из рожков на палубу. Теперь англичанам требуется воронка. Шланг у них свой, специальный, а нужна воронка. Ищем воронку еще минут десять. Серый от ненависти к докерам боцман приносит воронку, швыряет в ватервейс.

– Викторыч, нашу оттяжку украли! Вон на той барже! Задержите ее!

И правда, наша оттяжка – метров десять приличного троса. А баржевик привязывает ею баржу к своему катеру.

– Стоп! – ору. И делаю всемирно понятный жест – скрещенные руки над головой. От меня до англичанина совсем близко, но он не слышит. Как сформулировал Голсуорси: «Англичанину важнее всего сохранить иллюзию». Баржевик отлично сохраняет иллюзию того, что веревка принадлежит ему. От ненависти к мелкому воришке боцман делается серее волка и с презрением бормочет: «Ну и рабочий класс! Ну и пролетарии всех стран соединяйтесь!»

Боцман небось запомнил, что эти слова родились здесь, на берегу Темзы. Десять метров веревки – ерунда, но тут во мне заговорила национальная гордость. Вызываю чиф-таль-

мана. Единственный обаятельный англичанин на борту. Воротник не поднят выше ушей, кепка не натянута на нос, грудь распахнута навстречу ветрам Альбиона, и рот распахнут в белозубой улыбке. Очень на Грегори Пека похож. Так я его и зову до конца выгрузки.

– Грегори, так тебя и так!

Понял, подобрал с палубы строительную скобу, запустил ею в баржевика, договорился, побожился, что баржевик сейчас вернется и притащит оттяжку обратно.

– Если уж обещали, привезут, – успокаивается Семеныч.

Из второго трюма раздается ниагарский грохот, дробь лопающихся звуков – доски ломаются. Пялимся с Грегори в провал трюма. Половину груза я сдал в Гданьске. На Англию идут хорошего качества пиломатериалы и шпалы. Треснувшая доска – это уже не доска, а простые дрова. Что там такое?

Весом в две тонны пакет волокут по другим доскам от третьего люка ко второму. За пакетом остается уродливый след – десятки метров древесного лома.

Спускаюсь по скоб-трапу в трюм, останавливаю работу, сую в нос докерам щепки.

Кто никогда не оставался один на один в огромном стальном храме – трюме – с толпой недовольных грузчиков, тот много потерял в жизни. Ведь недавно сам твердил боцману: не говори с толпой, говори с начальником. Что тут поймешь? Гам, крик, вопли, песни – и все усилено эхом, как в соборе Святого Витта. Наконец уясняю, что по законам порта каждая бригада докеров разгружает свой трюм и выгружает только через один люк, даже если этих люков тысяча. И вот они буксируют подъемы от третьего ко второму люку. И почему им так удобнее? На эту тему Голсуорси сообщает, что мы, русские, далеко превзошли англичан в способности все выворачивать наизнанку... Сейчас англичане выворачивают наизнанку элементарную логику – по традиции, очевидно. Или есть тут какой-нибудь хитрый смысл? А мне без страховочного письма к агенту не обойтись...

Над комингсом люка появляется голова вахтенного механика.

– Викторьч! Несчастье у меня! Вылезай!

Вылезаю. По дороге едва увернулся от пакета с досками.

– Моторист красил кап в машинном отделении, отстегнул пояс, когда закончил, сорвался...

Так, десять часов пятнадцать минут – время в таких случаях надо сразу засекаать.

– С какой высоты?

– Метров с пяти. На крышки цилиндров главного двигателя – вот что плохо...

Это мы уже с ним на ходу разговариваем.

– В сознании?

– Нет.

О чем думаешь в такие моменты?

«Акт о несчастном случае на производстве. Форма Н-1, инструктаж вводный, на рабочем месте, повторный, для работ с повышенной опасностью...»

О прокуроре думаешь.

– Инструктаж был?

– Был.

– Кто проводил?

– Сам дед.

Это уже превосходно. Остается: «Травматологические последствия – переведен на легкую работу, исход без инвалидности, установлена инвалидность 1, 2, 3 группы, случай смертельный – нужно подчеркнуть...»

Плаваем мы без врача. Старое судно, кают не хватает. По уставу врача замещает старший помощник капитана. Старпом сошел на берег в гальюн. Капитан у консула...

Паренек лежит белый, мягкий весь, испачкан в краске и соляре. Сотрясение мозга, шок, перелом позвоночника?.. Что годится во всех случаях?.. Кажется: больше воздуха, не переохлаждать, нашатырь...

– Вот ты бегом на берег! Там старпом в гальюне. Найдешь, скажешь, чтобы звонил в «скорую помощь», вызывал машину госпитальную...

– Есть!

Старпом опытный мужчина, он и телефон найдет, и позвонить сумеет. В каждой стране, каждом городе патентованное устройство у телефонов-автоматов, своя система номеров, свои цены, размер монетки. Жуткое дело звонить по телефону в незнакомом порту. Скорее на тот свет дозвонишься.

Механик вспоминает, что теплоход «Сретенск» на пути из Южной Америки попал в аварию, сейчас стоит в соседнем доке, судно большое, современное, врач там обязательно есть.

Наш самый резвый моторист отправляется на «Сретенск». Бежать вокруг доков километров пять. Трубу «Сретенска» видно рядом, а добежать к нему – час.

Решаем пострадавшего вынести в каюту. Выносим на одеялах.

Он все без сознания. Плохо дело. Ран не видно. Жирный паренек, упитанный, круглорожий. Наблюдателей и советчиков – куча. Кто-то успокаивает:

– Он на задницу приземлился. Я сам видел.

– Такая задница парашют заменит.

– Амортизация, как у кенгуру...

– Лишние выйдите! – это я.

– Виктор Викторович, вас англичане требуют! – это уже вахтенный.

Грегори Пек, сияя улыбкой, сует мне в нос ведро, просит воды. Ведро их собственное, черное внутри почему-то. Работает пожарный насос, воды на палубе – залейся, а ему еще воды! Молотит языком по белым зубам.

– Штиль! – ору я. – Тише!

Ему нужен кипятик, а не просто вода. Для чая. Работать толком не начали, а уже о чае заботятся.

Отправляю Грегори на камбуз. Прибегает боцман:

– Викторыч! Матросов заливают! Почему пожарный насос не остановили? Викторыч, я вас попрошу о таких вещах ставить меня в известность! Вода из шпигатов красить мешает за бортом...

Боцман у нас секретарь парторганизации – его далеко не пошлешь! Коротко объясняю про несчастный случай, под конец взрываюсь:

– Сам не можешь позвонить в машину, насос остановить?!

– Положено через вахтенного штурмана...

– Мало ли что положено!

Зовут к трапу. Примчался доктор со «Сретенска». Счастье какое, что он оказался на месте. Мог бы по Британскому музею разгуливать или кино на Пикадилли смотреть. Записываю фамилию, засекаю время.

Возвращается чиф. Он дозвонился в госпиталь. Машина будет с минуты на минуту. Рекомендует не торопиться с заполнением вахтенного журнала.

Сирена на причале. Выкатывает шикарная машина. Полицейский на подножке. Узнав, что дело не касается подданных короны, исчезает.

Паренек убывает в морской госпиталь Лондона.

Оглядываю палубу. Работа вроде бы наладилась. Шебуршат бочки-противовесы, трещат лебедки, доски загружают баржи сэра Уильяма Барнетта и К°. Следует скользнуть вниз, в шхеры, в каюту, посидеть, покурить с закрытыми глазами.

– Виктор Викторович, вас англичане к первому трюму вызывают!

– Что у них?

– Вроде они страйк объявили.

«Страйк» – забастовка. «Дружные, хорошо организованные отряды лондонских докеров стойко защищают свои права...»

У первого трюма хохот. Никто не работает. Резвятся. Брызгаются из кишки, приспособленной для заполнения бочек-противовесов. Орут:

– Секонд! Страйк!

Кто на этом трюме главный, черт бы его побрал!

Чего они бастуют, рожи сопливые! Наконец один тыкает пальцем в шкив блока у грузового шкентеля на стреле. Пробую блок. Не прокручивается. Заело. Ну и что? Сами расходить не могут? Раза два ручником ударить по шкиву. А они «страйк»! Простой за наш счет.

– Боцмана сюда!

Здесь я сведу с ним счеты. Его дело подготовить грузовое устройство. Он за этот подлый шкив отвечает. За «страйк», за простой.

У боцмана физиономия делается виноватой, сопит, материт докеров.

Пока он ходит за ручником, ломиком, британцы продолжают резвиться возле тихой дыры трюма.

Окружают меня, суют в нос газету. «Ивнинг ньюс». Фото полуголеньких девиц. «Мисс Австрия», «мисс Австралия»... Очевидно, в Лондоне проходит конкурс этих мисс. Наконец догадываюсь, о чем они лопочут. Где «мисс Россия»? Почему нет «мисс России»? В России нет красивых девушек? Если собрать с каждого русского всего по два шиллинга, они принесут, да, да, принесут на руках нам такую мисс, такую мисс, которую мы сможем увезти с собой в Россию...

– Заткнитесь, болваны! – советую я им, стараясь сохранить добродушие. Я говорю на русском, но некоторые слова они отлично знают. Эти слова они повторяют за мной хором. Хоть бы у одного я увидел носовой платок. Сопли висят до подбородка. Ну и рожи! С такими темпами мы будем разгружаться недели две.

– Крутится блок, – докладывает боцман.

Англичане потихоньку гаснут и разбредаются по местам.

Но шум поднимается у носового трюма. Шпалы у меня в кормовом трюме.

– Что случилось?

– Джон краской испачкался. Вас требуют.

– Боцман, красили у четвертого номера?

– Только надстройку румпельного...

– Неужели другого времени не могли выбрать? Сотня людей на палубах крутится!

– Там везде на ихнем языке плакаты вывешены, по закону!

– Пошли разбираться!

Толпа пляшет вокруг одного раскрашенного суриком Джона. Зачем он лазал к румпельному, болван? Сам виноват. И аншлаги – прав боцман – висят по всем правилам. Но боже мой, как они размахивают кулаками и крюками: «Мани!» – «Деньги!» А испачканы рваные, жалкие брюки и ладони.

– Спокойно, Семеныч, – успокаиваю я себя, а не боцмана. – Прикажете принести растворитель. Главное – не идиотский престиж, а работа.

Но не удерживаюсь. Тычу пальцем в брюки Джона, делаю самую презрительную физиономию, на которую только способен. И вдруг кричу волевым, как у Нельсона при Трафальгаре, голосом:

– Вёк! Работать!

Помогает.

Возвращается из госпиталя чиф. Паренька оставили там. Позвоночник цел. Насчет сотрясения мозга еще не ясно. Лежать несколько недель.

Боцман с ходу жалуется чифу, что я не разрешаю вахтенному у трапа работать. Вечный конфликт чифа с вахтенным помощником. Если матрос у трапа начнет работать, он принципиально за трапом смотреть не будет. Даже если по трапу вынесут капитанский сейф, матрос скажет, что он не видел: ему приказали работать, а глаз у него не десять – два, и смотреть ими в разные стороны только в цирке умеют...

Мы крупно цапаемся с чифом. От этого настроение ухудшается еще больше.

Вижу, что вся толпа докеров с носа повалила в надстройку. Бочки-противовесы повисли в воздухе. Лебедки стали. Приятная тишина.

Появляется капитан. Капитан интересуется, почему вахтенный матрос красит, знаю ли я правила несения вахтенной службы в иностранных портах.

Я слишком давно связан с флотом, чтобы валить вину на другого. Выйдет хуже, хотя так и подмывает пожаловаться на чифа.

Капитан сразу опять убывает.

Спускаюсь в надстройку. Столовая команды полным-полна докерами. Сигаретный дым, гул. Играют в шашки, в «шишбеш», листают газеты.

Грегори Пек подносит железную кружку чая.

У них уже ленч, что мы переводим – второй британский чай. Хорошо хоть забастовки нет. Я отмахиваюсь от чая. Грегори обижается. Беру кружку с мутным пойлом. Слабый чай с молоком и минимумом сахара, если он там вообще есть. Отрава. Они хлебуют его на полный ход. Сидят в шляпах и кепках. Грегори полощет кружки в своем ведре. Рядом сундучок стоит – деревянный ящик с ременной ручкой. Там полотенце, ножи, кишка какая-то.

Ладно, пейте свое пойло. Хоть подышу тихо на палубе.

Мир в Сорри-доке.

Солнце проглядывает, потеплело. Медлительно дрейфуют под ветерком сотни барж, трутся бортами, закрыты синими, зелеными, желтыми брезентами. Между баржами плавают доски. А мы их от дождя прятали при погрузке.

Выходит из соседнего бассейна огромная «Финния», порт приписки – Гельсингфорс. Впереди нее плывут два ослепительных лебедя. Он и она. «Финния» отработывает полным задним и обрушивает в воду левый якорь, чтобы развернуться в тесноте на выход. Якорь шлепается метрах в десяти от лебедей. Они не пугаются – ко всему привыкли, плывут между досок к нам. Оранжевые, веселые клювы, черные породистые брови. С высоты борта хорошо видны в зелени воды синие перепончатые лапки, оттянутые назад. Задирают головы, воркуют недовольно, поглядывают на меня.

– Цып-цып, – говорю лондонским лебедям.

Боцман оказывается рядом, съедобное что-то в руках.

– У них ведь тоже ленч, – объясняет он.

Мы заключаем негласное перемирие. Хорошо вокруг, мирно.

И запах спиртного – стивидор пришел.

– А, секунд! – улыбается он. Воняет от него водкой еще больше, чем утром. Объясняет, что они не начнут разгрузку после ленча, если мы не передвинем в другое место бимсы, сложенные на правом борту.

Бимсы весят килограммов по пятьсот. Чтобы их переместить, нужны лебедки, но лебедки англичане переоборудовали под идиотское устройство с водяной бочкой-противовесом. Теперь бимсы им мешают, а двигать их нечем. Вернее, есть старый, как миф, прием – по каткам ломами. Минут пять собираюсь с духом, чтобы приказать боцману провести этот прием в жизнь. Наконец решаюсь. Он верещит так, как будто ему бимс на ногу упал.

Перемирие закончилось.

До обеда мы с чифом и дедом осматриваем заклепки в том месте, где приложились на входе в док. Устанавливаем, что на пяти шпангоутах один ряд заклепок имеет потертые головки на сорок сантиметров ниже ватерлинии.

После простукивания, при котором я ничего не слышу, хотя делаю умный вид, приходим к выводу, что водотечности быть не может. На всякий случай указываем, что по окончании выгрузки ряд потертых заклепок будет проверен под давлением из пожарной магистрали.

Черновик акта пишу я в каюте. Стивидор сидит рядом и несет, как он в войну сражался в отрядах командос и высаживался в Норвегии, чтобы захватить тяжелую воду. Каким-то чудом я понимаю рассказ и даже чувствую, что стивидор не врет.

Хочу толково объяснить ему это. Первый раз открываю англо-русский разговорник. Нахожу только: «Официант, стол на троих, пожалуйста!» – и все в этом духе.

Забрасываю разговорник под стол. И наконец понимаю, что его бормотание имеет одну цель: выбить бутылку водки. У меня ее нет. И не будет. Он удивляется: как я буду без нее жить? И уходит. Через пятнадцать минут является с пивом: презент. Выпиваем пиво. Не такой уж он плохой мужик. Надо будет покормить его обедом.

Но с обеденным перерывом опять выходит неувязка. Английский обед на час позже. Наши ребята помогутся, переоденутся – и отдай им час перерыва, отдай и не грехи. А докерам то одно, то другое надо пособить, наладить.

Только мы по ложке супа съели, вызывают ко второму трюму. Опять «страйк». Перегорела лебедка. Старые у нас лебедки, старые, как сам теплоход.

Электромеханик – мой корешок, подружились еще на ремонте.

Прибежал к лебедке – изо рта котлета торчит недо-жеванная.

– Что случилось?

– Файя! – орет английский лебедчик и радостно улыбается.

– Сейчас, Викторыч! – Электромеханик кладет котлету на фальшборт и лезет в контроллер. Минута – и лебедка начинает урчать. Электромеханик с победным видом наблюдает за медленно наматывающимся на барабан тросом.

Трах! Бах! Ограничитель не срабатывает, гак с полного хода втыкается в блок и намертво заклинивается там.

– Капут! – радостно орут англичане.

Теперь надо майнать стрелу на палубу, выбирать гак из блока, но английское устройство с противовесом не дает возможности уложить стрелу на палубу. Из-за этого их проклятого устройства и ограничитель не сработал.

Работяги с быстротой актера, который один играет все роли в пьесе, начинают переодеваться, сбрасывают каски, втыкают страшные крюки в доски. И вот они уже все в барже и черной цепочкой бегут к набережной дока – обедать.

Грегори Пек перед уходом сообщает, что после обеда они не смогут работать, если на каждый трюм не будут вывешены по две осветительные люстры, люстры еще надо повесить и за бортами, чтобы осветить баржи. Пытаюсь ему объяснить, что еще солнце светит. Но солнце не имеет отношения к их профсоюзным правилам...

Звякнул вахтенный, вызывая к трапу, – возвращался капитан.

– Ну как? – спросил он. – Пива хочешь? Принесли тебе бутылочку.

– Сумасшедший дом, – сказал я.

– Мы тебе и соленых арахисовых орешков принесли к пиву, – сказал помполит. – Выпей, съешь, и полегчает.

Прошлись по трюмам, решили:

– Здорово работают, черти!

И действительно, за половину смены они выкинули досок куда больше, чем поляки в Гданьске. Кажется, и не работали, а наработали много. Противовес им явно помогал.

Спускаюсь в кают-компанию суп доесть.

Там разговор о забастовках. Кто где сколько времени простоял под забастовкой. Чемпионом оказывается старший механик – он у нас самый старый моряк. Три месяца во Франции проторчали в пятидесятом году. От безделья построили на свалке стадион и целый спортивный комплекс. Забастовщики включились в работу по спортблагоустройству. И потом два месяца в футбол играли. Турнир всех наций получился...

Я размяк в тепле, уши развесил.

Приходит стивидор, заявляет, что работать они не могут, так как у судна крен и проклятые их водяные бочки, опускаясь вниз, бьются о борт.

Нет такого судна, которое не будет самым неожиданным и странным образом крениться, если нагружено лесом. Только специальные лесовозы не кренятся.

Пытаюсь обвинить англичан в неравномерной разгрузке. Стивидор, не будь дурак, заявляет, что неравномерность разгрузки есть следствие невыполнения «винг-ту-винг». Сует бумагу. Идем к капитану. Капитан ее подписывает. Недаром мы в Ленинграде запаслись страховочным письмом «Экспортлесу».

Но крен все равно надо уменьшить. Иду к стармеху. Он после обеда спать лег. Бужу. Надо топливом сманеврировать и крен уничтожить. Дед объясняет, что крен не по его вине, топливо у него выбирается равномерно и я могу уничтожить крен, как мне вздумается.

Иду к капитану. Он тоже после обеда лег спать. Бужу. Он сдерживает бешенство и звонит стармеху.

Минут через сорок крен уменьшается и англичане начинают работу. Но деду я сон перебил, он появляется на палубе, подзывает меня, кивает за борт:

– Не видишь?

– Чего «не видишь»?

– Глаза протри.

Вода, доски плавают, баржи бортами трутся. Нормально все.

– Масло на воде видишь? Матрос масляную палку за борт бросил, а штраф с меня дергать будут? Скажут, из меня течет соляр и масло, а из меня и капли не сочтется. Штраф здесь, будь здоров, дергают.

– Боцман, черт возьми, кто масляную палку за борт бросил?

– Откуда у нас масло? Мотористы это бросили.

– Да я своими глазами видел, как матрос палку бросил, – говорит дед.

Боцману деваться некуда, но он быстро находится:

– Англичане в ватервейс мочатся, а вы внимания не обращаете, Виктор Викторович! Надо жалобу писать, а вы глаза в сторону отводите! Не принципиально получается!

Здесь опять он прав. Ленятся англичане лазать через зыбкие баржи на берег. Нет ничего нечистоплотнее, нежели пачкать ватервейс, палубу, судно, корабль. Но очень уж противно ловить на таком деле здорового дядю, выводить по трапу за ухо, жалобу писать.

Немецкий физик с торжеством сказал Резерфорду: «Ни один англосакс не понимает теории относительности!» Резерфорд ответил: «Естественно, у нас слишком много здравого смысла!»

Здравый смысл закрыть галюны на судах в доках есть, выполнять собственный закон – нет. И все-таки в парусные времена такого здесь не могло быть. В те времена их бы драли палками ниже спины. Или в те времена туалеты комфортабельнее были? Нынешние английские, особенно в доках, напоминают наши на Диксоне. И если в центре столицы надпись приглашает «джентльменов», то в портовой глубинке обходятся просто словом «мэн». И настенная живо-

пись здесь напугает даже пещерного человека. И тексты не для слаботервных. И холодище. И вместо пипифакса свободные британские газеты.

Кое-как замял теорию относительности, думал, на этом вопрос берегового туалета больше не всплывет. Спрятался в столовой команды, смотрю английские скачки и английский бокс по телевидению.

– Вахтенного помощника к трапу! Нас от берега отрезают! Баржи растащили!

Боже мой! Чьи эти светлые, тихие стихи:

Если б кончить с жизнью тяжелой
У родного самовара,
За фарфоровую чашкой,
Тихой смертью от угара...

Ничего мне больше не надо. И даже фарфоровой чашки. Только бы к родному самовару и хорошую порцию угара.

Вечер. Ветер. Холодно. И два буксирчика растаскивают баржи. В плавучем мосту зияет уже огромная дыра. По берегу бегают два наших дисциплинированных, соблюдающих обычаи порта матросика. Проморгали провокацию, не углядели.

Ноги меня почти не держат. Ползу в рубку, включаю наружную трансляцию. Ее на буксирчиках услышат. Хриплю во весь Сорри-док:

– Эй, фулиши! На мини-шипях! Совсем с ума сошли!

На буксирчиках ноль внимания. Дыра между нами и берегом растет.

Матросики оделись легко – только туда-обратно добежать. Пригорюнились, сели за штабелем досок, спрятались от ветра, а ветер крепчает, между прочим, хотя мы и в центре Лондона.

Вызываю на мостик помполита: Коля, так и так. В экипаже пробита брешь, империализм перешел в открытое наступление. Твое время действовать, принимать решение – ты комиссар. Вдруг на всю ночь мосты развели? свой вельбот спускать, что ли?

– А кто из наших отрезан?

– Золотые кадры: комсорг и профгруппорг.

– Жуткое дело, – говорит Коля.

И тут я понимаю, в чем суть. Подводной лодке надо пройти в следующий за нами бассейн. Ей расчищают дорогу.

Высоченная рубка, низко и хищно горят отличительные огни, торчит пушечка, замерли матросы в оранжевых спасательных жилетах. Свистки, команды слышны; странные, чужие команды, чужие свистки. Черным силуэтом скользит лодка на фоне огней доков, окон домов, среди желтых отражений огней в черной воде. Распихивает горбатым форштевнем наши доски. Слышно, как они стучаются об нее.

Ну-с, тут, как положено, появляется справочник военных флотов мира и начинается гадание на кофейной гуще: какого типа лодка и какой у нее силуэт? Авторитеты яростно сталкиваются. Наконец сходимся на том, что силуэт у подлодки старый, Леонардо еще ее выдумал.

Субмарина проходит рядом. Офицеры в белых чехлах на фуражках британскими надменными глазами смотрят вперед с рубки. Британский флаг трепещет на флагштоке. Из люка центрального поста доносится шум дизеля. С моря возвращаются ребята, с дальнего похода. Неизвестно почему, но это мы чувствуем морским чутьем. Домой пришли ребята. К родной стенке Альбион-дока.

Через несколько минут – еще одна.

На берегу, в том месте, где они швартуются, начинается оживление. Вспыхивают фары машин, видны густые толпы людей – встречают. Беру бинокль. Много детишек в чулочках до колен машут подводникам. Черт возьми, и лебеди тут. Тоже встречают, не спят.

Даже и представить себе не можешь, чтобы наша лодка вернулась из похода прямо к набережной Лейтенанта Шмидта, чтобы ее встречали родственники и лебеди.

Мини-шпы заталкивают баржи обратно в дыру. Комсорг и профгруппорг воссоединяются с экипажем.

Вздремнуть бы.

Завтра мы с чифом поедem за фуражками.

Известно, что моряк без фуражки – казак без лошади. Но лошадь современный казак может достать и на родине, а настоящую морскую фуражку, то есть фуражку высших аэродинамических качеств, не сдуваемую первым встречным ветерком, с «макинтошем» – непромокаемым чехлом, с шерстяным белым чехлом, с козырьком, который защитит глаза и на экваторе (в былые-то времена темных очков не было), – такую фуражку можно купить только в Лондоне.

– И не в самом Лондоне, – сказал чиф. – А в Тилбури. Я там уже покупал, заказывал, вернее. Шьют замечательно. Остается положить на ночь в умывальник, чтобы немного размякла, – и люкс.

И завтра мы поедem в Тилбури. С мыслями о чудесной фуражке я валюсь на диванчик.

Но сон тревожный. Около ноля вскакиваю. Ветер подвывает в такелаже за лобовым иллюминатором каюты. Долго смотрю в иллюминатор. Гаки раскачиваются под стрелами, бьются оттяжки. Ветер. И будь я проклят: не меньше восьми баллов уже. Надо посмотреть швартовы. Все-таки не у стенки мы стоим, а на бочках посередине дока.

Не хочется вылезать.

За пакгаузом светятся еще кое-где окна жилых домов на Ловерроуд. Светятся тем светом, которым просвечивают руки, когда прикуриваешь в темноте рубки. Домашним уютom светятся. Сейчас бы зайти на огонек. Скоро Рождество. Скоро англосаксы начнут пудинги варганить и индеек покупать...

Таких безобразных рождественских открыток, как в Англии, я еще нигде не видел. И кошечки с бантиками, и зайчики под елкой, и пугливая лань среди снежного поля у пучка сена в кормушке – забота о животных. И все это щедро залито золотой и серебряной красками, все напечатано выпукло, добротом. Игрушки под стать открыткам. Рисунки на конфетных коробках под стать и тому и другому.

Но самое уродливое, отвратительное даже – гипсовые дети в натуральную величину, стоящие обычно возле магазинчиков. Девочка на одной ноге с костылем. Слепой мальчик с протянутой рукой. Гипс раскрашен, краска облупилась от дождей и туманов давным-давно. Мертвые лица муляжей – страшнее покойников. В головах – щели.

Это – копилки. Так собирают на слепых, на инвалидных детей. Правда, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь сунул в облупившуюся голову пенс...

Выталкиваю себя на палубу. Вахтенный, слава богу, на месте. Трап поднят, забраться на судно никто не может. В таких случаях у вахтенного большой соблазн улизнуть в тепло.

– Пошли, паренек, веревки посмотрим.

Черные палубы, скользкие, холод, ветер с дождем, так и сдувает к фальшборту. Спит судно. Трутятся баржи друг о дружку, скрип, стон. Вода щелкает, хлюпает, сопит между баржами.

Швартовы надраились, конечно, но работают равномерно. А такелаж на стрелах кое-где надо для порядка обтянуть. И мы обтягиваем его вручную – не самое приятное занятие. Но вахтенному полезно проветрить мозги, а я занимаюсь этим не столько от нужды, сколько по какой-то непонятной привычке. И знаю – после такой грубой работы с грязными холодными тросами приятно будет спуститься в каюту, помыть руки горячей водой с содой под названием

«ВИМ». Потом покурить у приемника. В таких маленьких радостях есть какой-то большой смысл. В том, вернее, что на судне начинаешь их замечать и ценить.

В английской литературе всегда привлекал юмор.

И было приятно увидеть его следы на стенке вагона пригородной электрички:

«Вы работаете ради денег. Теперь сделайте работу для себя – положите деньги в Вестминстерский банк!»

Или:

«Улыбайся – и будешь счастливым!»

Так и казалось, что Джером К. Джером еще не умер.

Мы ехали в Тилбури за аэродинамическими фуражками. Чиф отлично знал Лондон. Получилось всего двенадцать пересадок в метро и три на пригородной электричке. При этом мы прокатили за Тилбури лишнюю сотню километров.

Типичные английские пейзажи летели за окном электрички. Ровные полянки, подстриженные деревья. Серый, перламутровый, констебльский колорит. Цветочков не было по зимнему времени. Правда, в центре Лондона я видел цветы на щечках девушек-хиппи. Но ведь еще в четырнадцатом году наша художница Наталия Гончарова рисовала цветы на своем лице. Да еще по синему фону! Хиппи до цветного фона еще не доросли.

В электричке можно курить. А все, что вам захочется, можете кинуть на пол. Если кидать на пол окурки вы не привыкли, то можете расстаться с жизнью. Меня даже начинает подташнивать от пережитого страха, когда я вспоминаю историю с окурком сигареты в пригородной лондонской электричке. Не так уж часто человек проходит со смертью рядом – в сантиметре. Вернее, проносится в сантиметре от смерти.

Сидели мы с чифом друг против друга у правой стороны вагона, если смотреть по ходу. Двери там открываются на обе стороны и никакой автоблокировки нет. Я сидел спиной к движению. И когда докурил сигарету, начал искать для окурка подходящее место. Подумал, приоткрою дверь, выстрелю окурком в щель – и порядок. Надавил ручку, и дверь отшвырнулась встречным потоком воздуха наружу, ударила о стенку, и образовался зияющий провал. Вагон наполнился грохотом, сквозняк завихрил по полу вековой английский мусор.

Надо было, очевидно, дверь закрыть. Вдруг на остановке полисмен захочет узнать, кто и зачем открыл дверь? И может, ее вообще трогать нельзя?

Электричка мчалась сто десять – сто двадцать.

Чиф загородил дверной провал ногой, чтобы я не вылетел вместо окурка за борт. Я высунулся по пояс, дотянулся до дверной ручки и попытался дверь закрыть. Но как только я ее отдираю от стенки вагона, так встречный поток пересиливал мой жалкий бицепс. Дважды я пытался. И наконец плюхнулся на диван, чтобы передохнуть. И в эту секунду мимо промчался встречный поезд. Земли на английских островах мало, расстояние между колеями очень маленькое. Башку мою встречный оторвал бы и расплющил обязательно.

Мы сидели белые, как меловые скалы у Дувра. Потом чиф сказал:

– Вечером во всех газетах был бы твой труп.

И закончил типично морским соображением:

– А мне бы навсегда закрыли визу.

Юмор из меня высквозило начисто. Констебльские пейзажи заболотились. Все стало серым без перламутра. И среди бесконечных болот мне до самого Тилбури мерещились баскервильские собаки, их страшные глаза и пенящиеся морды.

С такими глазами и мордой обляял нас приказчик в единственной фуражечной мастерской – она оказалась закрытой. На билеты потратили мы уйму денег, устали, продрогли.

А когда поймал себя на мысли, что если бы угробился на электричке, то действительно были бы большие неприятности и капитану, и чифу, а главное – маме, то стало еще тошнее.

От расстройства пошли вечером пиво пить.

Густо насыщают придоковые улочки бары. Как бы морячину ни шатало и ни швыряло – от тротуара до тротуара, – он все равно и неизбежно угодит в «Георга V», «Якорь» или «Принцессу Джоан». Промах исключен.

Стойка. Молодой упругий бармен, трезвый и в хорошем костюме. Музыкальный автомат. Бутылки, укрепленные вниз горлышком, заткнутые пробкой и краником. Сигареты с оптимистическим названием «Долгая жизнь». Спасательный круг на стене. Азиатский божок, африканская ритуальная маска, бутылка, в которой разваливается модель столетнего парусника, за стеклом в стенной нише – останки морской звезды, ветка коралла, потрескавшиеся от времени открытки из любых закоулков планеты, раковина. Над дверью штурвал. Электрический камин, в котором трепещет бумажное пламя. Высокие табуреты у стойки и мягкие продавленные старомодные кресла вокруг столика. Три-четыре проститутки – они здесь изо дня в день. Пьяненькие, конечно. Синяки небрежно замазаны штукатуркой и пудрой. Полусвет. Бумажные цветочки заткнуты под рамку портрета основателя заведения.

Никто не будет обращать на тебя внимания, если сам не захочешь. Хочешь быть пустым местом – будь им. Дым от бесконечных сигарет...

И жизнь здесь кажется очень давнишней, в несколько столетий.

Кто считал, сколько тысяч моряков облокачивались на стойку, тупо смотрели в камин, сажали на колени девиц, пили спирт в разных концентрациях и разного цвета, снисходительно ухмылялись на спасательный круг и били друг другу рожи? Откуда только их не приносило к этой стойке и куда не уносило от нее!

Подводники с субмарин, конечно, уже тут. Молодых мало. В возрасте мужчины. Старшины по-нашему. Офицеров нет. Девицы льнут к ним, обнимают седые головы, теребят орденские планки.

Пожалуй, эти ребята ходили еще в конвоях «русский дымок – и британский дымок!...». Во всяком случае, они помнят: «Был озабочен очень воздушный наш народ, к нам не вернулся ночью с бомбежки самолет... Бак пробит, хвост горит, но машина летит на честном слове и на одном крыле...» Пожалуй, улыбнутся, если скажешь: «Джордж из Динки джаза!»

И «Типирери», и «Не плачь, красотка, обо мне! Я надолго уезжаю и, когда вернусь, не знаю, а пока – прощай!» Это «прощай» подхватывала вся рота, когда мы маршировали в баню с кальсонами и полотенцами под мышкой. Мы орали песни союзников и чувствовали себя отчаянными. Отрезав по куску от четырех тельняшек, мы сшивали пятаю. Ее подсовывали старшине – он не мог проверить сто тельняшек за десять минут. Полученная в обмен нормальная тельняшка продавалась на Балтийском вокзале и превращалась в пиво. После бани пиво настоящим мужчинам совершенно необходимо. Прости нас, родина! Но срок давности преступления, вероятно, истек...

Баня воспитывала в нас необходимые морякам качества – быстроту реакции, напористость и глубокоэшелонированную предусмотрительность. Дело в том, что на сто человек бывало не больше шестидесяти шаек. Чтоб захватить ее, следовало расшнуровать ботинки, развязать тесемки кальсон, рассупонить ремни и расстегнуть шинели еще в строю, на улице, на ходу, на морозе, орать при этом: «Прощай, и друга не забудь! Твой друг уходит в дальний путь! К тебе я постараюсь завернуть – как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь!»

В подворотне строй превращался в стадо шакалов, все неслись к входу в баню и к шкафчикам, срывая с себя одежды, лягаясь и кусаясь. Всякие намеки на союзнические отношения исчезали...

Если можно поссориться с приятелем из-за ржавой, битой, старой шайки, то чего можно ожидать от государств?

Противолодочным зигзагом движутся мысли, когда сидишь за стойкой припортового кабачка в туманном Лондоне.

Забрели французские моряки с сухогруза, стоящего в бассейне рядом с нашим. Они, вероятно, не были на судне уже несколько дней – как ошвартовались, так и пошли куролесить. Мы на них без смеха смотреть не могли. Французский теплоход стоял у причала уже третьи сутки, но ходовые огни продолжали на нем гореть. И днем огни горели. Французики доплыли до порта и ушли из него. Все, что происходит на стоянке, их не касается. И как портовые власти им не вправили мозги...

Французики были сильно навеселе. Но это не было российское, тяжко-философское, углубленное подпитие, о котором один наш поэт сказал бессмертные слова: «Пьянство есть совокупление астрала нашего существа с музыкой мироздания» (ударение обязательно на «ы», иначе значительно уменьшается глубина мысли).

Наш пьяница способен всю ночь горевать об отсутствии Учителя, который выслушает и ответит на больные вопросы. А собеседник всю ночь будет доказывать, что дело не в том, чтобы найти Учителя, а в том, чтобы найти того, кто тебя поймет до конца, и так далее. Однажды я много часов подряд слушал разговор о дураках. О том, что об умных, великих, интересных людях и их роли в жизни человечества написаны тысячи книг. А где книга о роли дураков в жизни человечества? Почему книга о выдающемся болване – всегда библиографическая редкость?.. Спорили люди высокообразованные, пили дорогой коньяк, сыпали Платонами и Спинозами, как горохом. И разошлись под утро, тупые, уставшие ломовые лошади... Французики выпивают для веселья.

Сейчас они танцевали с проститутками, бармен отбивал такт ногой, огромная женщина – хозяйка бара – не удержалась, налила себе глоток и тоже задергалась за стойкой под быстрый джаз. Английские подводники сидели, накрыв бокалы тяжелыми, огромными, боцманскими лапами, и спокойно дожидались, когда ангажированные девицы вернутся к ним на колени.

Французики еще поиграли в известную у нас игру «стрелы» – надо метать в мишень стрелу с присоской на конце. И ушли в следующий бар.

А завтра все мы разойдемся по всем морям и океанам. И опять подумалось о том, что так расходились из этих кабачков моряки столетие за столетием. Конечно, было и в наших душах ощущение морячности, приобщенности к всемирному морскому братству, ибо это братство есть. Оно есть у людей всех профессий, цеховое чувство. Кто лучше всех поймет парикмахера? Парикмахер. А тут еще извечный якорь на фуражке, и какая-нибудь корона, и трехлопастный винт на отворотах тужурки...

Полисмен время от времени заглядывает, пошутит с хозяйкой и девицами: как, мол, идут дела? все культурно? Все пока культурно, дела идут ничего, только вот франк упал во Франции, французы на виски раскошеляются с трудом, лакают ром, как малайцы... И как бы франк не зацепил фунт...

Чувство, что Империя превращается в маленькое островное государство, преследует везде, даже в Тауэре. Там живут жирные, черные, огромные вороны. Пока в Тауэре существуют вороны, с Британией будет все в порядке – такова легенда. Клетка открыта. Они топчутся в ней по кругу, как-то странно – вкривь и вкось, запрокинув головы с омерзительными клювами. Смотреть на воронов тянет, как тянет смотреть на покойника, хотя смотреть на него не хочешь.

Сокровища британской короны. Все сделано, чтобы потрясти тебя. Стальные двери толщиной в метр, с рычагами, приводами, сигнализацией. Могучие полисмены на каждом углу. Барьеры узких проходов. «Не фотографировать!» И рядом с объявлением – гирлянды отобранных и засвеченных фотопленок.

Близко от Тауэра на фасаде трехэтажного дома гигантское изображение голой мужской спины, перекрещенной подтяжками. Брюки мужчины находятся в опасной ситуации. Одна подтяжная пуговица уже вырвана с корнем. Другая пуговица держится на трех нитках. Лопнут ниточки – произойдет конфуз – мир увидит исподники несчастного мужчины во всей красоте. Надпись огромными буквами: «ПОМОГИТЕ СПАСТИ БРИТАНИЮ!»

Но это не все. Верхняя часть брюк изображает британский государственный флаг. Это ему, Джеку, предстоит соскользнуть с ягодиц, открыв миру исподники Джона Буля.

Достаточно грустное украшение центра Лондона. Но вызывает уважение беспощадность к себе. Трудно представить другой народ, способный на подобные шутки.

А еще недавно Киплинг писал и британцы повторяли за ним, вздрагивая от гордости:

Роса этот флаг целовала,
Туман его прятал густой,
В краю полуночных созвездий
Он несся попутной звездой!
Флаг Англии! Ветра дыханье
Навстречу бросается вам...

За точность перевода не ручаюсь, цитирую по памяти еще курсантских времен.

Английские субмарины закончили стоянку раньше нас.

Опять катера растащили баржи.

Был день, ветра дыханье бросалось навстречу британским военно-морским флагам на подлодках.

Любое гражданское судно приветствует военно-морской флаг государства, с которым существуют дипломатические отношения, приспуская свой.

Я стоял на мостике со свистком в зубах, вахтенный матрос занял позицию у флага и распутал фал.

Рубка первой субмарины поравнялась с нашей. Группа офицеров-подводников оказалась ниже меня. Я видел их с птичьего полета, весь их узкий и тесный мостик, плечи перископов и дыру люка в центральный пост.

Свисток был отличный – настоящий английский штурманский свисток – подарок старпома. До получения подарка я использовал в торжественных случаях затычку-свистульку спасательного жилета.

Воздуха я не пожалел. Мой свист соколом пронзил серенькую дымку над Суррей-Коммершел-доком. Матрос в корме с отменной четкостью приспустил флаг.

Английские матросы приспустили свой. Они уже давно видели наши приготовления, но запутались с фалом. Офицеры-подводники взяли под козырек, глядя вверх, на меня. Я опять вспомнил свое военное, чуточку подводное прошлое и, поколебавшись, взял под козырек штатской рыжей кепи. Хорошая флотская фуражка была бы здесь более к месту.

У английских офицеров был несколько смущенный вид. Дело в том, что лодку буксир тащил кормой вперед. Не очень грозно выглядит субмарина в такой паршивой позиции. Но мы обязаны были приветствовать британский флаг. У британского флага нет переда и зада – он одинаков со всех сторон.

Прошли положенные мгновения, и я свистнул два коротких. Наш флаг поднялся до места. И английский сделал то же самое.

Между мною и британскими подводниками на рубке лодки было метров пять. Командир – маленький, рыжебородый, суровый – опустил руку от огромного козырька и негромко, но отчетливо сказал по-русски:

– До свиданья!

– Гуд бай! – сказал я, слегка обалдев, так как обмен словесными любезностями не входит в ритуал морских встреч и прощаний. – Счастливого плавания! – добавил я еще от всей души.

– Благодарю! Спасибо! – ответил он старательно, как на занятиях по русскому языку в их военно-морском колледже. Он был натовским офицером. Офицерам флота положено учить язык возможного противника.

Так мы поговорили и расстались, довольные друг другом.

Лебеди провожали лодку до расширения в бассейне. Потом буксиры раскантовали ее носом на шлюз, и она пошла в ворота своим ходом. Тихий стук ее дизеля хорошо был слышен среди серого покоя доковой воды.

Ну их к дьяволу, эти подводные лодки. Какое счастье, что судьба пронесла мимо. Разве можно открытый ветрам мостик сравнить с окуляром перископа, духотой, сыростью отпотевших торпед и запахом электролита в аккумуляторных ямах...

На двадцатиметровой глубине подо мной, в пустом уже трюме, матросы играли в футбол, вместо того чтобы убирать древесный мусор. Они носились в желтом свете трюмных люстр. Гулко звучали удары по мячу. Английское изобретение «ножной мяч» мешало матросам сосредоточиться на уборке мусора.

К судну шел стивидор-пьяница, бывший командос. Я давно заметил, что в конце выгрузки или погрузки не испытываю желания видеть партнеров по работе – приемщиков или отправителей груза. Мне всегда кажется, что у них торжествующие рожи, что они в чем-нибудь меня надули, провели. И я теряю юмор, забываю великое высказывание-эпитафию англичанина Джона Гея – автора «Оперы нищих» – на его могиле в Вестминстерском аббатстве: «Жизнь – только шутка, все это подтверждает, прежде я об этом догадывался, сейчас я знаю это наверняка».

Из «Пояснительной записки к рейсу № 9 порт Лондон – порт Ленинград»:

«Рейс № 9 начался после выгрузки в п. Лондон пиломатериалов. По плану пароходства судно обязано было вернуться в г. Ленинград до появления серьезного льда в Финском заливе. Готового груза в п. Лондон для судна не было, предварительный каргоплан отсутствовал, не было и предварительных погрузочных ордеров. До самого момента подписания отходных документов не было известно даже количество коносаментов. Зачастую груз, после подыскания его агентом, доставлялся к борту без складирования – прямо с автомашин на грузовые площадки. Администрации судна было известно только приблизительное общее весовое количество груза – 1200 тонн. Для избежания больших затрат на раскрепление такого мизерного количества груза в огромных трюмах было принято решение раскреплять груз грузом. Между тяжеловесными ящиками “Машинимпорт” и “Станкоимпорт” укладывались мешки целлюлозы и ящики с фильтровальной бумагой и искусственным волокном – вискозой...»

Из «Акта ведомственного расследования»: «По окончании выгрузки в п. Ленинград установлено следующее:

1. Недостача пряжи вискозной – 6 (шесть) мест.
2. Недостача обуви модельной женской из ящика № 9328 – 4 (четыре) пары.

Администрацией судна были предприняты следующие меры для ограждения интересов перевозчика: для контроля счета и качества товара при погрузке в п. Лондон из числа опытных матросов были выделены тальмана, предварительно тщательно проинструктированные вторым помощником Конецким В. В. согласно приказу ММФ № 272 о счете груза при перевозках на импорт.

Трудность работы судовой администрации и тальманов обуславливалась тем, что товар подвозился к борту в уже уложенном на погрузочные площадки состоянии и с разным счетом мест на каждой площадке. Лондонские тальмана (“по обычаю порта”) сличать тальманки с судовыми тальманами отказались, равно как и подписывать их. Между тальманами неоднократно возникали споры по количеству груза и качеству его упаковки.

Администрация судна была вынуждена неоднократно останавливать погрузку, сняла с борта и вычеркнула из погрузордеров три места, как не отвечающие требованию качественной упаковки. Одновременно грузоотправителю было заявлено о наличии “в споре” семнадцати

мест. После энергичных протестов часть оспоренных грузов была доведена, а у значительной части коносаментов и в манифесте были сделаны оговорки о некачественной упаковке.

Погрузка ценного груза – обуви модельной – производилась при непосредственном присутствии второго помощника в трюме. Выгрузка обуви производилась также при непосредственном присутствии второго помощника в трюме за счет судового тальмана. После обнаружения дефектного ящика (“с доступом к содержимому”) немедленно были вызваны на судно представитель таможни и уголовного розыска. Сам дефектный ящик находился внутри штабеля.

Ввиду того что счет груза в п. Лондон, несмотря на трудности, был организован правильно, считаю нехватку шести мест вискозного волокна происшедшей по вине отправителя. Уверен, что число выгруженных мест будет подтверждено фирмой после окончательного пересчета груза на складе.

По недостатке четырех пар обуви считаю ее происшедшей из-за невложения отправителем. Частичную вину возлагаю на второго помощника Конецкого В. В., который в ночное время оставил груз в трюме “под парашютом”, чем дал основание Лен. порту предполагать возможность хищения...»

Ленинград – Гибралтар

09.12.68

Из Ленинграда снялись под вечер. И сразу пятибалльный ветер в левый борт при минус восьми градусах превратил судно в ледяную сказку.

Балтийское море дымилось
И словно рвалось на закат.
Балтийское солнце садилось
За синий и дальний Кронштадт.

Палубный караван – тысячи осиновых бревен – смерзся, верхний слой льда повторяет веерный рисунок брызг. Такелаж, рангоут, антенны обросли сверкающими сосульками. Крен на правый борт шесть градусов. Осадка увеличилась. Капитан послал замерить новое углубление штевней.

Черта с два засечешь осадку в открытом море, на волне, болтаясь, привязанный конечно, на штормтрапе под кормой. Но точности особой не требовалось. Надо было записать в журнал новую осадку, чтобы иметь право идти в Северное море не Зундом, а Бельтами. Не любят нынче капитаны Зунд с его Дрогденским каналом.

Матросы рубят лед со стрел, такелажа. Представьте себе дровяной склад, который затопило, а потом он замерз.

Глядишь на судно – и вспоминаются времена, когда в Ленинграде проблема дров мучила людей уже с весны. Вспоминаешь жакты, очереди за талонами, охоту за «левыми» машинами или возчиками, несчастных лошадей, волокущих телеги с дровами, ссоры из-за березы, сосны, осины; пилку и колку по воскресеньям, взломанные замки сараев...

Привела судьба – везу 5111 тонн осины в Италию. Там она в бумагу превратится. Где-нибудь в Неаполе итальянец будет сидеть и читать газету. Разве придет ему в голову, что газета на ледяной бумаге напечатана, что где-то в России росла осина, волны Финского залива замерзали на осиновых бревнах и матросы тыкали пешнями среди солнечного блистания льда...

12.12.68

Сказочные алые паруса, которые ждала Ассоль, несколько веков назад были обычными. Паруса старинных кораблей делались из алой или ярко-синей шерсти. Яркие краски помогали мореходам подбодрить себя, рассеять уныние серого моря и льдов, вселить во врагов страх.

И когда сейчас пересекаешь Северное море, видишь много маленьких рыбаков-частников. Их парусно-моторные суденышки раскрашены так же ярко, как ладьи предков. И паруса часто алые. Они хранят традиции и веселят себя красками чистого заката.

Лед на палубах все не тает. Крен остается пять градусов.

В этом рейсе новый начальник радиации – Людмила Ивановна, пожилая женщина маленького роста. Отплавала всю жизнь, но похожа на сельскую учительницу. В свободное время сидит в каюте и вяжет внуку костюмчик. Или вырезает из пенопласта зверушек. У меня в каюте уже висит белочка, сердитый дельфин и нечто вроде бегемота. Все они висят на одной нитке, друг над другом. Покачиваются и покручиваются в разные стороны. И напоминают мне бременских музыкантов.

На дневной вахте мелькнул над мачтами самолет – низко, ниже тяжелой облачности. Серый декабрь в Северном море.

В рубку пришла, переваливаясь уточкой, Людмила Ивановна и сказала:

– Это по вашей части, мальчики, – и положила на штурманский стол радиограмму: «SOS Гельголанд 290 градусов 15 миль погиб самолет летчик выкинулся парашютом всем судам просьба следить за морем».

– Кто дает?

– Гансы.

Нам далеко до Гельгоlanda и до летчика, который барахтается сейчас в Северном море.

После вахты мы с Людмилой Ивановной пьем чай. Вернее, Людмила Ивановна уютно, по-домашнему, вприкуску пьет чай, а я ем курицу с рисом. В обед курица не лезла в глотку, и буфетчица Марина оставила мне ее к чаю.

Мы с Людмилой Ивановной говорим о том, что видимость отвратительная и у немца мало шансов на спасение.

14.12.68

Прошли траверз Булони под английским берегом. Конечно, вспомнился «Воровский» и то, как мы здесь брали соль и дрожжи.

«Теплоход “Невалес”! Я – “Воровский”! Сообщите ваши запасы соли».

«Имею на борту две тысячи тонн глауберовой соли, следую Геную, что вам нужно?»

«Срочно нуждаемся поваренной соли».

«Повторите!»

«Срочно нуждаемся столовой соли!»

«Какой у вас груз?»

«Имеем на борту триста двадцать пассажиров».

«Протухли они у вас, что ли?»

«Почему протухли?»

«Зачем вы собираетесь их солить?..»

«Штормовых условиях потеряли запас своей соли. Сообщите, сколько можете дать...»

Прилетели птички. Две маленькие прыгают на крыле мостика, чирикают. Потеплело, пояснело в воздухе. Четкий клин перелетных птиц в голубом небе строго на юг. Четыре разгильдяя болтаются в стороне от клина. И боязно, что разгильдяи отстанут от своих, потеряются.

Птицы пересекут Европу по диагонали, а мы обогнем вокруг. И встретимся в Средиземном море. Приятно видеть птичек, клюющих что-то в осиновых бревнах на палубе перед рубкой.

Только близость Лондона портит настроение. Так и видишь мерзкую погрузку, крюки докеров, рвущие мешки и вспарывающие фанеру ящиков.

Прошли Гастингс, Брайтон, Истборн.

Ночью над Ла-Маншем падало много метеоритов. Но сгорали быстро, я не успевал загадывать желания даже из одного слова.

Мой рулевой матрос имеет твердую фамилию – Стародубцев. Ему тридцать пять. Сейчас редко встречаешь матросов за тридцать. Служил на подлодках. Внешность неприметная – взгляд в сторону, поношенное крестьянское лицо, негромкая речь с паузами. Каким-то чудом в памяти осталось, что Лжепетра, самозванца, выдававшего себя за царевича Петра Петровича, драгуна Нарвского полка, замутившего народ, беглеца от службы на реку Бузулук, звали Ларион Стародубцев.

– Ваня, – спросил я вахтенного матроса в Ла-Манше под метеоритным градом. – Не отрубили ли голову одному твоему предку, не сажали ли его буйную голову на кол, не жгли

ли труп на площади? Не били ли нещадно кнутами его дружков, не рвали ли им ноздри, не отправляли ли в Сибирь на вечные работы?

Ваня взял и обиделся. И мои ссылки на большую историю не сразу помогли ему забыть обиду. А фамилия редкая, и вполне может быть, что в его жилах течет кровь Лжепетра.

В середине ноября Земля проходит метеоритный поток, который называется «Леониды». Хвост потока достался нам с Ваней.

– Никогда не видел, чтобы падало так много кирпичей сразу, – сказал Стародубцев в кромешной тьме ходовой рубки. Куски когда-то рассыпавшейся планеты косо чертили небеса, вываливаясь из центра Ориона.

В половине четвертого ночи заглянула в стекло левой двери Людмила Ивановна, постучала. Волосы старой радистки металась за стеклом в привиденческом отблеске бортового огня. Она хотела узнать, не забыли ли мы разбудить подвахтенного радиста.

Когда Людмила Ивановна ушла, Ваня пробормотал:

– А я испугался. Смотрю – в стекло медведь лезет. Откуда, думаю, здесь медведь? Забыл, что эта тетка с нами плывет...

Людмила Ивановна переживает. Скоро Новый год, а поздравительные радиogramмы ей не несут. Стараются сдать их второму радисту, к которому уже привыкли. А Людмилы Ивановны стесняются. К радистам, как и к докторам, надо привыкать, потому что они знают про тебя многое интимное, личное.

Манера рассказывать у Вани Стародубцева такая. Ночь. Плюханье волн. Тьма. Молчание. Зудит репитер компаса. Вдруг:

– Фамилия его была Крыс. Не верите?

– Ну.

– И его все время кусали крысы. Не верите?

– Ну.

– И в учебном отряде кусали, и на подлодке. Не верите?

– Не верю. На лодках нет крыс.

– А у нас была. Она ушки лапами терла, когда испытание за вакуум делали. Сам видел. Не верите?

17.12.68

Выходя из Английского канала в толчее всевозможных попутных и встречных судов, воистину вдруг ощущаешь себя частицей великого братства народов. Особенно ощущаешь это ночью, когда ходовые огни судов качаются и окружают тебя со всех сторон, а самих судов не видишь.

И не знаешь, какого цвета люди плывут вокруг тебя. Но все держат приблизительно одинаковый курс по одинаковым компасам и одинаково качаются на одинаковых волнах зыби под одинаковыми для всех звездами, и одинаково шипит пена на усах под форштевнем.

А утром вдруг уже не увидишь никого вокруг. Все побрели своим путем. Широк простор морской – суда теряются в нем.

На этот раз Бискай тряхнул стариной и нами вместе с ней.

Третьи сутки шторм от девяти до одиннадцати баллов.

Бултыхаемся уже в центре западноевропейской котловины. Все отворачиваем и отворачиваем в океан, в сторону от нужного курса, от Гибралтара. Ход малый, принимаем волну в крутой бейдевинд. По существу, третьи сутки стоим на месте.

Срезало две стойки в корме, завалило бревнами вход под полубак. Бревна крутятся в водоворотах прямо под окнами ходовой рубки. Со стоек сорвало кору, лохмотья коры стелются,

стреляют под ветром. Волна очень крупная. Про такие говорят: «выше родного сельсовета». Старик наш ухает. Отвык он от такой погоды, да и возраст давит его.

Ночью типичный, стандартный ад. Зеленые сполохи, зарницы по всему горизонту, залпы и раскаты грома, град, шквалы с дождем, полосы тумана, давление упало до 730, брызги забивают стекла, и ничего не видно впереди, крены до тридцати градусов, радиопеленга не проходят – места нет. Самое загадочное, что караван еще на палубе, что осина еще не улетела в Бискай.

Действие непреодолимой силы на морском юридическом языке называется форс-мажорными обстоятельствами. Хорошее слово «форс-мажор». И того и другого полным-полно вокруг.

В столовой упрямо крутим многосерийный «Щит и меч». Посмотрели еще грузинский фильм «Нарцисс».

Очередная ночная вахта. За четыре часа проглядишь в черном мокром хаосе порядочную дырку и потом любишься в зеркало на синие круги под глазами – от бинокля. Сколько у меня еще впереди ночных вахт?

Шторм и не думает стихать. Начинает мерещиться какая-то чертовщина впереди. И вдруг Стародубцев:

– Викторыч, огонь!

И плохой огонь – белый с правого борта.

Вот и красный отличительный прорезался.

Мне отворачивать надо, дорогу уступать. А куда отворачивать? Вправо я не могу – ветер туда не пустит, даже если полный ход врубать. Влево – лагом к волне, водопад через палубу, караван в океан, а то и мы кувырнемся.

Зарницы, зеленые от зарниц полосы пены на волнах. И кровавым глазом огонь, пеленг на который не меняется. Обычный, вообще-то, случай, а так и тянет помолиться: «Господи, пронеси!» Не могу я отворачивать, не могу совсем застопорить ход, не могу прибавить. Ничего не могу. Ровно два часа ночи 17.12.1968. Молюсь, но не Богу, а тому штурману, который идет мне на пересечку. Милый, молюсь я, ты же не слепой, тебе же по ветру отвернуть, это же раз плюнуть, возьми мне под корму, и дело в шляпе, выкинь из башки свое право на дорогу, пропусти меня вперед, милый, дорогой, дубина...

В таких случаях можно не только молиться. Можно включить радиотелефон, выйти на шестнадцатом канале в эфир, заорать: «Я советский теплоход “Челюскинец”! Встречное судно! Встречное судно! Прошу уступить мне дорогу!» Но сколько шансов на то, что встречное слушает тебя на шестнадцатом? И если слушает, то поймет? Ты же не знаешь его национальности. Ночью нет национальностей у судов, есть только огни...

Кто ты, неизвестный штурман, подвернувший мне под корму? Прими мое спасибо! Я вздохнул полными легкими, увидев твой зеленый огонь. И мы разошлись правыми бортами среди величественных зыбей, а под нами было четыре километра и еще восемьсот метров воды.

Когда минует опасность, испытываешь легкость. Песню орешь или стихи бормочешь. Но поэтический настрой моих чувств быстро улетучился.

– Впереди Фантомас! – доложил Ваня Стародубцев.

И действительно – по носу призрачный, непонятный свет. Пробьется сквозь брызги, залучится – и опять тьма. Впору за телеграф хвататься и полный назад давать. Выскакиваю на крыло, шарю биноклем в брызгах и тьме. Грохот, вопли, стоны, как будто Фантомасу зажали дверью пальцы на руках...

Свет у нас под полубаком!

Людей там нет уже трое суток. И ни один сумасшедший в нос не пройдет сквозь водовороты, и бревна, и тьму. А кто же повернул выключатель под полубаком?

Бревна его повернули, звезданула осинка по выключателю или кабель расплющила и теперь коротит. Хорошего мало. Под полубаком – малярка, огнеопасное место. Звоню в машину, чтобы вырубili электропитание в нос.

Людмила Ивановна приносит прогноз. Обещают ослабление ветра.

Людмиле Ивановне скучно одной в радиорубке. Проходимость отвратительная, связи практически нет, прогноз едва приняла.

Радистка заклинивается возле меня. Все вокруг задраено, разговаривать можно почти нормальным голосом.

– Вы где в войну были? – спрашиваю я, чтобы спросить что-нибудь.

– На мели.

Я уже знал, что юмора она не признает и не употребляет.

– Страшно?

– Я никогда ничего в море не боялась и не боюсь, – говорит Людмила Ивановна. – Потому что ничего в море не понимаю. И понимать не хочу. Помню, шли норвежскими шхерами – солнышко, тишина. Я на кормовом люке загорала. И вот на повороте наша корма впритык к огромной скале прошла. За скалой островок симпатичный – сосны растут, камнями теплыми пахнет. Вот, думаю, тут бы пионерлагерь построить. Раздолье бы детишкам было... А вахтенный штурман при том повороте поседел. Если бы я что в море понимала, так, может, тогда тоже сивой стала.

– А где вы на мели сидели?

– Как раз двадцать второго июня и сели. Шли из Архангельска на Нарьян-Мар. Картошку везли, бензин в бочках, лук. Напротив Колгуева сели. Старпом посадил. Ему срок дали и в штрафбат послали, а мы на мели остались. Месяц сидим, второй сидим, третий... Катерок там шастал. Обвяжут бочки с бензином веревками и тянут катерком куда-то. А у нас крен двадцать восемь градусов. Так и зазимовали. Немцы к Москве подходят, а мы на боку во льду лежим, камельки топим в каютах – уютно.

Я одна женщина была. Капитана нового прислали – архангельского трескоеда, опытного зимовщика. С ним боцман повздорил, так он его в штрафбат упек. Строгий капитан. Набили мы картошкой прачечную и ели всю зиму. Та, что в трюмах, померзла, конечно. Ненцы по льду на оленях приезжали, спирт был. А на твиндеках в первом номере взрывчатка была, сколько тонн, уж не знаю. Нам до этой взрывчатки сперва как до лампочки было. А год прошел, море очистилось – и немцы приплыли, подводная лодка. Она как жажнет по нас из пушки! Тут-то и вспомнили мы про взрывчатку. Буксир военный рядом стоял – нас пытался с мели вымыть. На буксире пушка была, и она жажнула по лодке. Лодка ушла и полярную станцию разгромила – я потом видела. И ужасная еще трагедия случилась. Катерок, который бензин волок, от немецкой лодки свою порцию тоже получил. Капитанский сапог только и подобрали с воды. И шинелишку. А шинелишка девчушки была, молоденькая девчушка – радистка на катере.

А одно хорошее даже получилось. Это я точно знаю. Картошку мы для Нарьян-Мара на весь год везли и не довезли. Ничего Нарьян-Мару не оставалось, как попробовать весной самим сажать. И теперь там картошка растет, а ученые считали, что холодно для картошки...

Наконец вывернулись и пошли на Гибралтар.

Теперь надо определиться по португальским маякам. Сплошные Санта-Мари, Санта-Яго, Санта-Кармен...

Санта-Мария вспыхивает долгим томительным огнем, потом он медленно затухает, превращается в тлеющую точку в слабом ореоле – это шторм поднял в воздух мириады частиц воды, они и светятся. И опять вспыхивает Санта-Мария.

Так звали флагманскую каравеллу Колумба. Говорят, ее нашли возле Гаити. Нашел олимпийский чемпион по плаванию. От этих берегов отваливал Колумб и сюда возвращался, и тогда на палубе орали дикими голосами самодеятельную песню:

Все выше, выше, выше
На мачту лезь, матрос!
Не видно ль португальских,
Испанских берегов?
О капитан, я вижу,
Будь, капитан, готов!
Дошли до португальских,
Испанских берегов!

В самом узком месте Гибралтарского пролива встречаются течения, обозначающие себя зелеными и синими струями. Струи сталкиваются и переплетаются. И ветры над проливом, кажется, покровительствуют каждый своему течению, своей струе; и дуют то в лицо, то в затылок. И тоже сталкиваются, переплетаются и завихряются.

Белые гребешки сулойных волн, белые чайки над ними, поджавшие лапки к хвостам. И уйма дельфинов, шастающих из Средиземного моря в Атлантический океан и обратно.

Танжер в дымке. Развалины башен, белые дома. Африка.

Видение Африки.

На европейском берегу, над Гибралтаром заметен как бы слип, огромный пологий скат – склон горы, обтесанный и, очевидно, зацементированный. Он служит для сбора дождевой воды.

Чей-то авианосец торчит под берегом. Самолеты чайками плюхаются и взлетают над ним.

В прорези пеленгаторов плывет мыс Европы. И все время почему-то тянет записать в судовой журнал: «Мисс Европа».

Когда огибаешь самую западную точку нашего континента, кажется, будто видишь его весь со стороны, как бы в профиль. И очень ощущается в Европе какая-то женственность, женское начало. Быть может, потому, что многие годы я не знал, что Европа, которую похитил Зевс, превратившись в белоснежного, симпатичного лукавого быка, не наша Европа, а всего-навсего красавица, дочь сидонского царя. Тезки навсегда спутались в моем воображении. Испуганная девушка, сидящая на спине могучего быка среди голубого моря...

Нашему теплоходу было тридцать три года. Но в пароходстве проходила кампания по определению маневренных элементов судна. Вообще-то говоря, у всех судов эти элементы должны быть определены еще при рождении. И всем судоводителям положено их знать, как таблицу умножения. Но, очевидно, где-то что-то случилось. Какая-нибудь авария произошла из-за неточности определения маневренных элементов. И вот пришел приказ всем определить эти элементы снова.

Если кораблики, встречаясь на морских дорогах или в портах, разговаривают между собой, перебивают косточки своим капитанам, жалуются на плохой уход или хвастаются красивой трубой (а я уверен, что так происходит, как уверен, что так бывает и у лошадей), то над Средиземным морем грохотал неслышный для наших ушей издевательский смех.

Приказ есть приказ. И мы девять часов определяли определенные уже тысячу раз у «Челюскинца» диаметр циркуляции и величину инерции – сколько, например, пройдет судно, если с «полного вперед» дать «полный назад» до полной остановки?

Встречные и попутные кораблики, разглядывая судорожные броски, прыжки и остановки старика «Челюскинца», крутили у своих лбов пальцем и сочувствовали старику или покатывались со смеху.

Смысла в наших манипуляциях было столько же, сколько в тщательном определении ширины шага у старого мерина, которого ведут на живодерню.

За девять часов мы потеряли сто ходовых миль. Дорого это нам потом обошлось. Штиль в море надо ценить и использовать. А Средиземное море сразу за Гибралтаром баловало нас мертвым штилем. Пожалуй, я видел такую неподвижную, прозрачную, как стекло телескопа, воду первый раз в жизни.

Чтобы придать хоть какой-нибудь смысл определению маневренных элементов, капитан сыграл шлюпочную тревогу.

И я надолго запомню миражное отражение легких облачков в лазурной неподвижной воде, перевернутый мачтами вниз «Челюскинец», с палуб которого каким-то чудом не сыпалась в глубины Средиземного моря осина, дымок из его трубы, касающийся отраженных в воде облаков, и морскую тишину вокруг вельбота, когда мы отошли от судна и заглушили мотор.

Ночная вахта была спокойная, видимость отличная, берега давно скрылись. Я несколько раз пытался определиться по радиомаякам. Алжир и Оран было слышно, но пеленга «вело». Сигналы радиомаяков оплывали и тонули в потоке джазов, чужих слов, женского эстрадного смеха. И мне никак было не отстроиться от помех. Мир эфира шумел предпразднично – на Европу надвигалось Рождество Христово.

На курсе, прямо по носу, где поднималась из моря молодая луна, лежала древняя земля. Там родился Христос. Или родило его человеческое воображение.

– Алжирский пленник... – бормотал я, пытаюсь нащупать минимум радиомаяка Алжир. Опять детская книжка – на красном переплете узник с черными цепями на руках и ногах – Мигель Сервантес...

За веру в Христа молодой Мигель четыреста лет назад сражался здесь у мыса Лепанто, на борту галеры «Маркеса». Мало кто знает, что автор «Дон Кихота» был не только солдатом, но и моряком.

Сервантес болел лихорадкой, но сражался «перед шлюпками» – в середине корабля, в самом опасном месте. «Маркеса» атаковала флагманскую галеру оттоманского флота и заставила ее спустить флаг.

Сервантес получил три огнестрельные раны.

Он писал потом: «Одною рукой сжимал я шпагу, из другой текла у меня кровь. В груди я ощущал глубокую рану, а левая рука моя была раздроблена на тысячу осколков. Но душа моя так ликовала от победы христиан над неверными, что я не замечал своих ран, хотя смертная мука перехватывала мне дух и временами я терял сознание...»

Христианской эскадрой тогда командовал итальянский адмирал Андреа Дориа.

Тринадцать лет назад у берегов Америки, у острова Нантакет, где зеленые волны слышали когда-то отчаянную песню мелвилловских друзей-китобоев «Веселей, молодцы, подналяжем – эхой!» и где рвется сейчас из динамиков наших траулеров «Соленые волны, соленые льды!», произошла крупнейшая морская катастрофа века – утонул итальянский лайнер «Андреа Дориа».

Я был на могиле лайнера. Ее глубина шестьдесят метров...

А Средиземное море можно назвать братской могилой – самой большой на планете. Тысячелетиями убивали здесь люди друг друга. Миллионы трупов опустились на грунт.

Быть может, там, на грунте, под килем моего судна, сидел в кабине своего безоружного самолета и Антуан Экзюпери. И рыбы тыкались в плексиглас его кабины. И ровный шум нашего винта доходил туда, в глубину, в вечность, к автору сказки о Маленьком принце.

Доктор Мунте, автор «Легенды о Сан-Микеле», кажется мне одним из самых чистых поэтов, писавших о Средиземном море. Но он все время помнил о смерти. Есть в Средиземном море нечто, соединяющее радость жизни с вечным мраком, витающим вокруг этой радости. Ночь и утро.

Здесь Мопассан расспрашивал доктора Мунте о смерти в море.

Тот сказал, что, насколько может судить, без спасательного пояса такая смерть сравнительно легка, но со спасательным поясом, пожалуй, самая страшная. И Мопассан уставился расширенными глазами на спасательные круги своей шикарной яхты «Милый друг». И решил было выкинуть за борт все круги до одного. Но не выкинул... Вообще-то он мечтал умереть в объятиях красивой женщины, а умер в сумасшедшем доме.

«Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эйфелева башня в конце концов слишком надоела мне... Впрочем, не только она внушила мне неодолимое желание пожить несколько времени одному...»

Первая глава «Бродячей жизни» Мопассана называется «Хандра». От пошлости он бежал в Средиземное море на яхте, он бежал в мифы, легенды, сказания, в притчи и в одиночество.

Хандра (Первый рассказ Геннадия Петровича М.)

Когда-то в Архангельске перед уходом в Арктику на сухогрузном речном кораблике я сошел на берег, чтобы попрощаться с ним. И читал в сквере газеты, и попивал легкое вино, и спрятался от дождика в садовой сторожке.

Свое сидение в будке я почему-то зафиксировал на бумаге и потом вставил в путевые очерки. Они были напечатаны в журнале. Не могу сказать, что кот, кусающий только для вида астру, ловкие воробьи и незнакомый мне мужчина, который носил папиросы в нагрудном кармане пиджака, и разговаривал с воробьями, и беспокоился о пуговице незнакомой ему женщины, вызвали восторг читателей. Однако нет ничего на свете, что не имело бы продолжения.

Года два спустя я получил пакет из института, носящего имя великого русского психиатра. Честно говоря, я не торопился вскрывать пакет, потому что уже получал письма, в которых содержались прозрачные намеки на состояние моей психики. Один доброжелатель, например, подсчитал, сколько раз я в одной повести употребил слова «красные пронзительные огоньки». И пришел к выводу, что я, как и Гаршин с его красным цветком, кончу в пролете лестницы. Совет тот, кто скажет, будто ему приятно получать такие предсказания.

В пакете оказались письмо и рукопись.

Письмо написал мне врач-психиатр. Он длительное время лечил Геннадия Петровича М. Рукопись принадлежала ему. Геннадий Петрович страдал манией одиночества. Он был уверен, что находится внутри большой рыбы, кита или кашалота – как пророк Иона.

Честно говоря, до этого письма я знал о пророке Ионе только то, что прочитал о нем у Мелвилла. Автор «Моби Дика» относился к пророку с юмором. Он отказывался верить в то, что Иона сидел в брюхе живого кита. В крайнем случае Мелвилл помещал Иону в китовую пасть. Но в брюхе мертвого кита пророк, по мнению главного китового специалиста, сидеть мог, «подобно тому, как французские солдаты во время русской кампании превращали в палатки туши павших лошадей, забираясь к ним в брюхо». Так писал Мелвилл.

Первопричиной душевной болезни Геннадия Петровича были травмы, полученные в автомобильной катастрофе. Врач сообщил, что Геннадий Петрович хранил вырезанные из журнала страницы с моим очерком, и сообщил, что мужчина в архангельском сквере – он. Потому врач послал его рукопись мне.

Геннадий Петрович был инженером, специалистом по автоматизации каких-то процессов в радиотехнической промышленности. Пробовать писать он начал в травматологической больнице, где после аварии провел около года. Очевидно, понимал, что возвратиться к нормальной работе он уже никогда не сможет, и искал новое занятие для себя. Во всяком случае, не тщеславное желание возбудить участие или удивление или увековечиться в памяти потомков водило его рукой.

Соблазн отождествлять автора с литературным образом, особенно если рассказ ведется от первого лица, бытует в читающей публике уже давно, с тех пор, как эта публика появилась. И необходимо подчеркнуть, что, хотя рукопись Геннадия Петровича не может не носить следов моего пера, отношусь я к Геннадию Петровичу, как Лермонтов к Печорину – Бог меня прости за такие параллели!

Истинный автор умер седьмого сентября шестьдесят шестого года. Название я сохраняю авторское: «Хандра».

«Деревянный двухэтажный дом стоял в снегу, среди старых елей. В легких летних верандах окна были синими от изморози.

Мне дали светлую, теплую комнату. И это было хорошо. А особенно хорошо было то, что комната квадратная. Мне нужна симметрия.

До обеда оставалось еще часа два, и я пошел прогуляться.

Падал снег. Ветра в лесу не было. Высоченные старые ели ловили снежинки складками коры, ветками, каждой хвоинкой. И все стало белым, обвисло, опустило плечи под тяжестью снега. И вдруг какая-нибудь ветка вздрагивала, снег падал с нее, ветка радостно взмахивала над угнетенными подругами. И казалось, взлетела большая птица.

Однажды я услышал в лесной тиши гитарный звон, долгий-долгий. И не сразу понял, что это упавшая с дерева льдинка задела где-то провода.

С детства я боюсь леса, хотя люблю каждый лист, травинку, ягоду и муравья. Не заблудиться боюсь, или нападения, или страшного зверя. А ощущаю лес живым единым организмом, с разумом. И лес смотрит на меня неодобрительно, потому что я глубоко чужд ему. Он дышит и шевелится не в такт с моим дыханием и движениями. Между тем говорят, что подружиться со зверем может только тот дрессировщик, который дышит со зверем в такт.

Слишком я занят собой в лесу. Он обостряет чувства, и я быстро устаю от их интенсивности. И от количества мыслей, мелькающих без системы и плана.

Это даже не мысли, а обрывки мыслей, мечтаний, воображений, воспоминаний. И неожиданные, точные догадки, даже озарения, связанные с работой. Все это беспорядочно и густо замешано.

Я слишком становлюсь самим собой. И поворачиваю, укоряя себя за неумение быть с природой внутри нее, неумение обойтись без людей и книг, от которых ушел с удовольствием. И знаешь: пробудь в лесу дольше, и важные, точные решения, связанные с жизнью и работой, озарят. Но поворачиваешь к обжитому, к людям.

Никто без важного дела не надоедает действительно замкнутым, молчаливым личностям. А ко мне, даже если я настойчиво отстраняюсь, люди пристают. Они чувствуют мою зависимость от них. Я срываюсь на грубость и наживаю врагов, а это утомительно. Я не люблю иметь врагов, я не Дон Кихот и не Лермонтов.

В тот раз я не повернул обратно. Мне после травмы следовало дышать свежим воздухом, надо было заботиться о физическом состоянии организма. От слов «организм», «симпозиум» меня начинает мутить. Но я заставил себя думать о здоровье и в одиночестве пошел дальше по зимнему лесу. Это было смешно, потому что уже в юности мне стало казаться, будто я стар и неизлечимо болен и никакой свежий воздух, рационы, режимы, ограничения в вине или курении мне не помогут. И я никогда не берег себя: все, мол, уже поздно. Это, между прочим, очень российское качество.

Но женщина, которую я любил, не соглашалась со мной. Она хотела, чтобы я думал о длинной, здоровой жизни. Мы встретили с ней однажды котенка в зимнем лесу и гнали его к деревне по глубокой снеговой дорожной колее. Он был уже не очень маленький, но глупый. Белый, испачканный углем, с розовым носом. Мы боялись, что он заблудится и замерзнет или его схпаает лесной зверь. Он неохотно бежал перед нами и часто оглядывался. Мы смеялись. Нам было хорошо тогда. Ее смех наполнял весь лес. Лес признавал ее своей.

Я шел зимним лесом совсем один.

Старые ели сменились соснами, молодыми, растущими густо, отчего ветки их торчали вверх, и лес поскущнел, потерял в сказочности и таинственности. Наст под соснами был гладкий, свободно укрепленный ветрами. Но и на этом насте виднелись вмятины от комков упавшего с веток снега. Тучи извивались вяло, как махорочный дым.

И я заметил тишину. Тишину, от которой зазвенело в ушах. Оказывается, я заметил тишину, потому что она исчезла.

Два тяжелых танка вывернули из-за поворота. Они были по-боевому задраены, без видимых людей. И неслись прямо на меня в облаках снежной пыли. Не хотелось отступить за обочину, в сугроб, набивать снег в ботинки. И я сделал еще несколько шагов, рассчитывая на совесть водителей. Но танки сокрушительно перли прямо на меня и передний пипикнул неестественно тоненьким голоском, требуя пространства. Я отступил. Снежная пыль, грохот и солярийный выхлоп взвихрились вокруг. И очень скоро все опять затихло в лесу.

– Не надо было отступать, – обязательно сказала бы мне женщина, с которой когда-то мы гнали котенка к деревне.

– Вам следует вернуться в пятый класс, – буркнул бы я.

– Они бы свернули, надо было немного помедлить.

Конечно, если она вдруг явилась, то могла бы спросить, почему я здесь и как себя чувствую после аварии. Но она только смеялась, что я испугался танков. Когда-то она водила меня по тонкому льду Финского залива. Она видела, что я трушу, и специально уводила дальше и дальше от берега. Все это было. Финский залив, ледяной слабый припай, ветер...

Теперь ее сын учится уже в восьмом классе и занимается музыкой.

По широким следам танков шагало быстрее, и я запарился. Сосняк кончился, к дороге склонились через канавы старые ветлы. Их тонкие ветки не удерживали снега, верхушки деревьев были цвета охры, пушистыми, легкими. Отмерзшие нижние сучья ржавились заскорузлыми лишаями.

Слева за ветлами виднелась равнина с редкими перелесками, справа темнели свежие земляные обвалы. И сперва почудились в этих обвалах и отвалах следы войны. Но это оказался карьер.

На отвороте к карьере стоял человек. Он был в ватнике, ватных штанах, валенках с галошами и солдатской ушанке.

– Эй, чего делаешь? – спросил он, когда я подошел.

– Гуляю.

– А я машину жду, оказию, к шоссейке, к автобусу, в город.

Он был небрит и отменно некрасив. Длинный нос – хобот, штук пять железных зубов; морщинистый, но еще не старый. Пахнуло от него пропотевшей одеждой и давно не мытым телом.

– Ну и что? – спросил я. Хотелось отделаться.

– Пойдем вместе. К шоссейке, – решил он.

Я понял, что он будет много говорить. Разговор, согласно пословице, сокращает дорогу. А я очень не люблю, когда, например, едешь в такси и попадается разговорчивый таксист. Особенно если рассказывает он вещи тяжелые, о несправедливости например, и как бы ждет от тебя помощи. Чужие несчастья расстраивают меня не меньше собственных. Но не скажешь чужому человеку: “Помолчите!” И я вытащил сигареты, чтобы угостить попутчика.

– Нет, не курю, – отказался он и забормотал сиплым голосом, что робит в кочегарке при санатории, дым вонючий задувает, пылюка от угля, кашля, грудь табака не принимает; всю жизнь рабочий, хотя землицы есть несколько соток; теперь жизнь хорошая: хата, где обогреться, есть, картошка есть, а где картошка – там и кабан, а что еще надо?..

Слова его разделялись матерщиной, неясным бормотанием и даже мычанием. Я понимаю такую речь, хотя она не доставляет мне удовольствия. Он чувствовал, что я понимаю, и продолжал говорить и говорить.

– Ну что, воевал с сорок первого ить до сорок шестого, ить вернулся, а детишек четверо, ить хлеба один кусок на усех, назавтра робить пошел, ить раны ще болели.

Он не жаловался, наоборот, несколько раз повторил, что жизнь делается лучше, и главное: чтобы опять не было войны – “страшного дела”.

У нас считается, что русский солдат на войне работает, воспринимает ее как страшный, тяжелый, но труд. Труд по сохранению своей жизни и уничтожению противника. Труд по созданию мира через войну. И мы даже обратной связью теперь называем широкую, большую работу “афронтом”, а руководство – “штабом”. Может, это и полезно, но мне иногда жутко слушать про войну как про труд и про труд как про сражение.

Попутчик мой замолчал наконец.

Ветерок несильно дул нам в лица, дышал надвигающейся оттепелью и доносил громкий ор ворон. Самих птиц ни в небе, ни на ветлах видно не было...

Несколько машин с прицепами, груженых гравием, обогнали нас. Попутчик голосовал робко. Поднимал руку, когда ясно было, что машина уже слишком близко, что шофер тормозить поленился. И сразу находил объяснение шоферской лени или безразличию: то, мол, прицеп вихлял, то подъем крутой, то уклон скользкий. Чувствовалась в нем какая-то привычная, извечная забитость и полное неверие в свое право на автостоп.

А мне тоже очень трудно бывает голосовать. И наше сходство в этом раздражало меня. Вернее, раздражало, как он все оправдывал свою робость, приговаривая, что “шофера, как все люди, – разные”.

Так мы и дошли до шоссе и увидели дымок и снежную пыль за автобусом. Ждать следующего надо было час. Но попутчик и здесь переживать не стал. Сказал, вздохнув:

– И в автобусе разные люди ездят...

И наконец поинтересовался мною: с какого года? воевал? женат? И сперва не поверил, что я холостой. Но потом убежденно сказал, что это дело наживное – было бы здоровье и талант в руках, а годы мои – еще самый расцвет жизни...

Удивительно он это сказал. С таким добрым желанием и верой в мое хорошее будущее, что я будто снежный душ принял.

Мы попрощались за руку. Я снял перчатку, он этикет соблюдать не стал, и я пожал ему мокрую тряпичную рукавицу.

Я был благодарен ему за добрые слова. И зашагал обратно, мимо виденной уже березовой рощи, елочек снегозадержания, ям карьера, старых ветел... Только весь пейзаж изменился, засверкал и заискрился блестками инея в воздухе, потому что солнце просветило тучи. В разрывах туч показалось мартовское, левитановское небо. Тени деревьев переплелись на снегу в кружево, и хотелось тени потрогать руками – так выступали они из белизны снега. А хвоя старых елей стала темной, как древнее серебро.

И вдруг я увидел лисицу, настоящую, живую, свободную. Лиса тоже увидела меня и замерла на обочинном сугробе, поджав к груди переднюю лапу. Она была, конечно, хищная, но такая живая и ослепительно рыжая, освещенная солнцем, среди белого снега и синих теней. Я вздрогнул, когда увидел ее, и тоже замер. Но потом не сдержал себя и поднял руку в молчаливом приветствии.

Лисица длинными неторопливыми прыжками пересекла дорогу близко передо мной и исчезла.

Пожалуй, я был счастлив тогда, среди зимнего солнечного дня один на один с лисицей.

После обеда все участники симпозиума спустились в холл смотреть по телевизору фигурное катание. Я немного опоздал, не сразу нашел свободное место и некоторое время оставался на виду, испытывая от взглядов коллег стеснение, смущение и даже страх.

Почему это? Почему мы так плохо чувствуем себя, оказываясь под взглядами чужих людей? Ведь уже тысячи лет мы живем и смотрим друг на друга – можно уже и привыкнуть не стесняться. Вероятно, мы подсознательно понимаем, что все мелкое, гадкое, трусливое отпечаталось в нашем внешнем облике; и вот начинаешь мельтешить, закуривать, пить воду, то есть пытаешься набросить на себя маскировочную сеть.

Или же это чувство неловкости – пережиток далекого, дикого времени, когда чужой взгляд означал удар в спину, схватку, гибель? Когда выигрывал тот, кто видел, а его не видели? И страх перед чужим взглядом сохраняется в нас тысячелетиями?

Сначала ощущение неловкости, оставшееся после моего топтания посередине холла, мешало мне проникнуться красотой зрелища. Мне не приходилось раньше видеть ни танцы на льду, ни фигурное катание, хотя я много слышал хорошего о новом увлечении. Просто у меня нет телевизора.

Некоторое время я с досадой отмечал, как мгновенно менялись участники чемпионата, когда их выступление заканчивалось и они оставались без искусства, мастерства, творческого возбуждения.

Но вот я начал волноваться за выступающих. Когда вдруг кто-нибудь падал, я невольно про себя говорил: “Милая, или милый, ну ничего-ничего, не расстраивайся! Не плачь, все вы еще так хороши, молоды, впереди будет вам большая удача!” И композиторов я утешал. И Сен-Санс, и Моцарт, и Бриттен казались мне добрыми дядюшками или дедушками, которые выводили на скользкий блеск ледяного поля племянников и внучек, сопровождали их в каждом движении.

Очень хорошо еще было, что соревнуются девушки и юноши из разных стран Европы. Когда объявляли их национальность, то сразу возникали за ними Рим и София, Париж и Прага. И образы этих городов как бы отражались на льду.

Это был нежный и мужественный мир. Волновало еще, конечно, и то, что всегда волнует в балете, – женская обнаженная, подчеркнутая даже костюмами, красота. Это сложное волнение так же далеко от похоти, как решительность далека от нахальства. Оно рождает на мгновения веру в мечту, и мне казалось, что впереди еще ждут меня и живая красота, и даль незнакомых стран, и счастье.

Мешали мне соседи. Один, как потом оказалось – охотник, предсказывал баллы, которые выкинут судьи. Он торопился, чтобы кто-нибудь другой не опередил его. Другие шутили, и часто получалось грубо:

– Вот пара – как швейцарские часы открутили!

Это после выступления швейцарцев.

Или:

– У них пять ног на двоих!

– Ну, такой бабе только штангу поднимать!

Это говорилось без злобы или злорадства – так просто.

Я знаю, красота, особенно если смотреть на нее не в одиночестве, вызывает в нас желание ее принизить. Быть может, нам делается заметна собственная некрасивость, наша далекость от искусства, и мы острым, снимая этим душевную обиду. Или же показываем знание закулисной стороны зрелища. И такой знаток тоже был. Он объяснял нам названия отдельных движений и как они влияют на формирование костей в детском возрасте.

Он объяснял про кости и тогда, когда одна девушка из Западной Германии с таким озорством и лукавством станцевала русский танец, что мы даже захопали.

Девушка танцевала на бис, очень устала. И вообще многие уставали, вероятно, так глубоко, как устают птицы над океаном. Девушки опускались на скамейку, как перелетные птицы на мачту встречного судна. И коньки им торопливо отстегивали мамы, тренеры или, может быть, влюбленные.

О том, кто с кем из выступающих живет, тоже высказывались предположения. И я вдруг подумал, что должен остановить товарищей, что они убивают своей пошлостью не только красоту, но себя в первую очередь обворовывают. Однако смешно было говорить такие прописные, старчески брюзгливые истины интеллигентным людям с высшим образованием. И как будто я сам никогда не острил глупо, когда красота стесняла мне душу!

За ужином немного выпили, чтобы закрепить знакомство. Я не должен был пить, но боялся обратить на себя внимание. От водки сразу сдавило виски.

Руководитель семинара сказал о распорядке первого рабочего дня.

– Каждый день будет у нас иметь сюжет, – сказал руководитель. – Как у спортивных пар. У них есть сюжет. Женщина там как бы уплывает, но опять возвращается. И у нас каждый день будет иметь начало, середину и конец...

На тему о том, что женщина уплывает, но опять возвращается, рассказали несколько анекдотов.

Когда анекдоты исчерпались, перешли на политику. А я молчал и тем обратил на себя внимание.

– Вы осторожный человек! – с понимающим смешком сказал самый молодой. – Конечно, спокойнее помалкивать!

Он хотел сказать, что я трус. Я действительно боюсь паспортисток, домоуправа, дворников, но, мне кажется, в концлагере я бы вел себя достойно.

Голова болела ужасно, застолье было невыносимо, и я ушел на воздух.

Дорога только смутно белела, старые ели вздыхали, и слышалась невнятная капель. Мне хотелось сказать: “Мама, возьми меня отсюда!” Я шептал так несколько десятков лет назад, когда попал в детскую комнату при милиции и мне там крепко всыпали. Стало смешно: я вспомнил, что и мне было любопытно, кто из фигуристов муж и жена и кто нет.

Просто пока я не познакомился с человеком поближе, я вижу в нем собственные недостатки, как через увеличительное стекло. И раздражаюсь. Так было всегда, но теперь, после аварии и травмы, это обострилось. Люди вокруг – отличные специалисты. И через несколько дней я увижу, что пошлость в них наносная, а биографии значительные. И сам я стану нормальным, буду произносить не всегда нужные слова и совершать не всегда нужные поступки. Все станет на места. Нужно немного потерпеть.

Я тихо шел в ночном лесу, фонари возле дома уже стали не видны. Шорох капли нарастал и говорил о весне, хотя весна должна была наступить еще не скоро. Небо казалось светлее леса – наверное, над тучами взошла луна. И я тихо назвал по имени женщину, с которой когда-то мы гнали по колее котенка. И она пришла. Она всегда приходила, когда я так звал ее. Мы взяли за руки и долго стояли молча, чтобы не тревожить лесную ночь. Да нам и не хотелось говорить.

Быть может, она всегда оставалась бы со мной, если бы я мог воспринимать ее как саму жизнь, а не как украшение жизни.

Я ходил по лесу еще целый час, чтобы в доме все легли спать, чтобы не видеть никого при возвращении. И женщина была со мной.

Когда уже показался слабый свет фонарей, вернее отблеск на снегу между деревьями, впереди раздался голос и появились две фигуры, квадратные от тяжелых пальто.

– Сюда! – шепнула она. И потащила меня с дороги в сугробы. Снег сразу набился в ботинки. И в сугробах остался рваный рыхлый след.

Мы отошли шагов на двадцать и замерли в темноте, под старой елью, как та рыжая лисица, которую я встретил днем. Моя попутчица прижала палец к губам, платок с ее головы сбился, волосы растрепались, и сквозь волосы блестели звездным, сильным светом ее глаза. Потом она засмеялась и, чтобы не было слышно, закусил варежку. Я тоже смеялся. Я стал таким же молодым и озорным, как она.

Голоса приближались.

– Кормят вполне прилично, и шеф не очень работу любит, – говорил один.

– Так-то оно так, но... Смотрите! Конечно, здесь водятся лоси! Следы! Я-то охотник, нас не проведешь! Здесь свернул с дороги лось-двухлеток...

– Это мы – лоси. Мы один общий двухлетний лось! – шепнула бы женщина, которую я любил. С елки падали капли и древесная мелочь. Запах оттаявшей хвои наполнял ночь.

Коллеги на дороге не предполагали, что мы прячемся так близко. Они поговорили еще о том, какие дурные у нас на Руси сортиры, и помочились на обочину...

Я вернулся в номер, растер промокшие ноги одеколоном и выпил воды. Потом прилег, закурил и включил репродуктор.

Передавали оперетту “Девушка с синими глазами”. Я ничего не понимаю в музыке, но тут мне показалось, что веселыми голосами поют панихиду. Надо было принять валерьянки и снотворного. Во мне росла ночная тревога, предчувствие кошмаров, страх одиночества.

Я думал о спящем вокруг лесе, снежных полях, тихих деревнях, ночных шоссе, одиноких машинах. Я представлял наш старый деревянный дом с летними верандами. Вот он стоит, весь темный, и только в моем окне – свет. Поскрипывают балки на пустом чердаке, чуть слышно звякает отставший лист железа в желобе крыши...

Обычно деревянный дом в лесу будит в моей душе спокойное, дачное ощущение, но тут вдруг показалось, что я в далеком, чужом аэровокзале, застрял из-за нелетной погоды, сижу уже несколько суток, противны стали буфет, зал ожидания, газетный киоск...

Я прикурил очередную сигарету и почему-то поднес огонек к волосам на руке. Запахло паленой шерстью. Я удивился глупости, которую делаю.

И опять увидел ее. Она сидела в кресле под окном, уперев босые ноги в батарею отопления. Я встал и растер ей ступни остатками одеколona. Так однажды было. Давно.

– Уезжайте, – сказала она.

– Будет глупо выглядеть, – сказал я. – Придется выдумывать причину для отъезда, врать. Я не хочу врать.

– И не надо. Так и скажите: “Мне здесь больше невозможно. Я уехал. Мне следует вернуться в больницу”.

– Уедемте вместе, – попросил я.

– Вы сами знаете, что вам лучше быть одному, – сказала она.

– Всегда?

– Да, – сказала она и пошевелила пальцами на теплой батарее.

– Еще болят? – спросил я.

– Нет. Уже блаженно. А ваша рука?

Место, где я опалил волосы, болело, но не сильно.

Дождаться утра не было смысла – дорогу к шоссе, к автобусу я знал после дневной прогулки и проводов кочегара. Я написал записку руководителю, собрал чемодан и ушел.

В ночном лесу, как всегда, нечто жило, смотрело на меня. Обочины дороги различались плохо, я много раз сбивался в снег и опять промочил ноги. Но дышалось хорошо, головная боль прошла, думалось интересно и странно. Я размышлял о том, что если на теле людей еще растут волосы, то, значит, мы недалеко удалились от диких предков. И если в душе живет атавистический страх перед ночным лесом, то значит, мы еще очень молоды. А когда мы повзрослеем, жизнь, может быть, станет праздником, сплошным ликующим праздником, как зрелище танцев на льду. И черт с тем, что это будет уже без меня».

...Школьник убежал с урока, студент – с факультетского собрания, инженер или ученый – с симпозиума, потому что хандра. Ну и что? Тут главное знать: куда убежал?

Геннадий Петрович убежал в кашалота.

Известно, что сам черт бессилен перед человеком, который еще способен смеяться. Но Геннадий Петрович потерял юмор. Ему было страшно от мысли, что каждый день, когда не

было праздника развития или углубления духа, – потерянный день. Ему казалось, что с возрастом количество таких дней только растёт и растёт. И что он видит вокруг себя все больше и больше дураков. В заметках он ссылался на высказывание доброго, мудрого, спокойного врача прошлого века, который заявил, что научился без раздражения смотреть на важно расхаживающих дураков только тогда, когда ослеп на один глаз. Доктор, судя по этому высказыванию, сохранил юмор, даже ослепнув на один глаз. Геннадий Петрович заболел серьезнее. Он не заметил юмора в словах доктора. «Разве можно быть нормальным человеком, если у тебя один глаз, и ты живешь в жизни, а не в романе Стивенсона?» – записал Геннадий Петрович на полях.

Я промучался с его рукописью целую ночь – ужасный почерк. Интереснее всего было: действительно ли мужчина в архангельском сквере и Геннадий Петрович один и тот же человек? Так уж устроены пишущие люди – всегда не хватает уверенности в том, что кто-то действительно тебя прочитал. Геннадий Петрович хранил журнальную вырезку. Это интриговало. И я дозвонился в институт имени великого психиатра к врачу, который прислал мне рукопись Геннадия Петровича.

– Мы справлялись по этому поводу, – сказал врач. – Служебных командировок в Архангельск больной не имел. Но известно, что он иногда, при наличии денег и времени, улетал или уезжал куда глаза глядят. Такое поведение в здоровом состоянии разительно противоречит последующей энтропии. И это очень интересно...

Я не стал признаваться, что первый раз слышу слово «энтропия». Спросил только еще о женщине из рукописи Геннадия Петровича – нет ли возможности узнать ее адрес?

– Мы ее не искали, – сказал врач. – По ряду причин я думаю, что ее просто не было. То есть было несколько женщин в разные периоды жизни. Последние годы их не было вообще. И те, прошлые, не могли нам существенно помочь.

– Неужели он не просил о свидании с кем-нибудь?

– Нет. Он не хотел видеть даже мать. Кстати, она умерла за месяц до него. Он тяготел к полной неподвижности и одиночеству. И бывал тих и радостен, если мне удавалось оставить его в ординаторской. Я иногда нарушал все правила и оставлял его в ординаторской даже на ночь, когда сам дежурил по отделению. Там он и писал. Там он чувствовал себя в рыбе, в замкнутом пространстве.

– Почему именно в рыбе?

– А бог его знает. Все мы, знаете ли, сидим в рыбе, потому что не знаем, куда плывем, – пошутил психиатр. – Начитался Библии – сейчас это модно. А Библия для слабой психики – опасная штука.

– Если рассказ автобиографичен, а мне кажется, это так, то автор представляется довольно робким человеком.

– Во-первых, он не боится признаться в этом – уже кое-что. Во-вторых, Петрович попал в катастрофу благородным образом, если можно так выразиться. Мальчишка-велосипедист съезжал с железнодорожной насыпи и вылетел на шоссе. Петрович резко крутанул баранку и был готов. Очень интересно, что здесь замешан велосипед. Вы читали Беккета?

– Нет, – признался я. По тому, как врач стал называть Геннадия Петровича Петровичем, я понял, что врач еще молод и что он был со своим подопечным в добрых отношениях.

– Очень интересный случай... Мальчишка навещался сюда с матерью. Они и в травматологическую клинику к Петровичу навещались. Они из Гатчины. Они и хоронили.

– А друзья, сослуживцы?

– Сослуживцы помогли кое в чем, но, знаете, последние полтора года он уже не работал, был на инвалидности. Его подзабыли. Это случается чаще, чем наоборот.

Мне нравился здоровый цинизм молодого, но уже много знающего о жизни человека.

– Петрович читал Декарта. Ему, как инженеру вероятно, интересны были мысли о том, что все мы – машины. Листали Декарта?

Я поторопился уйти в кусты.

– Вы не смогли бы дать остальные его записи?

– Нет. Они нужны нам. Позвоните годика через два. А то, что я вам послал, можно использовать?

– У нас не любят патологии, – сказал я.

– Патология – это учение о страдании, о болезненных процессах и состояниях организма.

Можно не любить патологичность, но не патологию.

– Простите, я неточно выразился...

– Есть еще вопросы? – спросил психиатр без большой любезности. Специалиста часто раздражает разговор с неспециалистом.

– Нет. Спасибо. Мне все ясно, – ляпнул я.

– Очень рад, что вам все ясно, – сказал он не без сарказма и повесил трубку.

Я немного обозлился. Типичная современная молодежь: нахваталась Беккетов и Декартов, получили специальное образование и уже можно посматривать сверху вниз. И все-таки сквозь раздражение я поймал себя на некотором уважительном к этому молодому психиатру отношении.

Думаю, в будущем мы с ним еще встретимся. Отплаваю я свое, осяду на суше, налажу быт, заведу наконец собаку, прочитаю Беккета и полистаю Декарта. И тогда мы встретимся. И все рукописи Геннадия Петровича перейдут в мои руки. И, быть может, тогда я смогу назвать вам его полное имя.

А рассказал я здесь всю историю потому, что именно в Средиземном море особенно ощущаешь причастность к древнему, прикосновение к мифу. Я был бы совсем не готов к этому прикосновению, если б не записки Геннадия Петровича. Вернее, его странная болезнь. Она заставила меня прочитать все, что я мог достать, о пророке Ионе.

Жизнь дает мне сюжет, размышлял я. Не пустить ли мне героя новой повести сквозь океаны в чреве большой рыбы? Мысль о такой повести тревожила больше и больше. Вложить нечто современное в прекрасно отработанный, отшлифованный веками миф – в этом я ощущал значительность, недоступную мне, если пытаться работать на материале только окружающей жизни. Эта «окружающая жизнь» – самое трудноуловимое.

Осина открывает острова

Заговор упорного молчания с незапамятных времен довлел над Сардинией... Остров был практически неизвестен большинству европейцев, да и самих итальянцев.

*Приглашение к капиталовложениям на Сардинии.
Изд. банка «Кредите индустриалесардо»*

О современной жизни Сардинии газеты пишут главным образом в связи с бандитизмом и маневрами НАТО. Очевидно, по причине военных баз на Сардинии для нас, советских журналистов, этот остров – закрытая зона.

Сардиния – закрытый остров. Правда. 1970, 6 июля

Уйму лет я мечтал натянуть нос журналистам – попасть туда, куда их не пускают. Журналисты отличные ребята, только бесит, что на старте Гагарина, у партизан Анголы или среди лиц, сопровождающих государственных деятелей в интересных поездках, – всегда они, журналисты.

Однако необходимо отметить, что комплексы неполноценности у журналистов глубже. Я еще ни разу не встречал журналиста, даже если он на самом интересном и высоком месте сидит, который мельком не сказал бы, что ему все это здорово надоело и он сейчас повестушку тут одну решил состряпать, думает в «Юности» тиснуть... И эта повестушка преследует журналиста, как тень отца Гамлета.

Наша простая русская осина выписала мне пропуск на закрытый остров Сардиния. Осина пробила зияющую дыру в кордонах НАТО. Весь 6-й американский флот, с авианосцами, линкорами и крейсерами, трусливо бежал от нас.

В этом есть какой-то смысл.

Средиземноморское солнце за день сильно нагревало дерево. Запах осины наполнял тихую ночь.

Колотые и круглые балансы. Где вы росли, родные? В каких реках, озерах отражались, деревья моей России? Где сейчас те лоси, которые кусали вашу молодую кору и молодые ветки?

Я люблю осину. Правда, я все деревья люблю. Осина хороша и зимой – у нее самые зеленые живые стволы зимой. И вот я везу ее в те края, где на ней повесился Иуда...

Ясным летним вечером листва осины серо-голубая, как табачный дым, как вечерняя дымка над Эгейским морем.

От носового каравана стойко пахнет грибами.

«Бах-бух-бах-бух...» – трудится наш старинный дизель.

В рубке невозмутимый Стародубцев рассказывает: «К повару подходит голодный матрос:

– Шеф, я есть хочу, дай чего куснуть.

– А ты здорово хочешь?

– Да, очень!

– Суточные щи будешь? Любишь суточные?

– Давай! Люблю!

– Заходи завтра».

Спать перед ночной вахтой не хотелось. Над душой висел отчет по рейсу Лондон – Ленинград. Следовало хорошо продумать тексты «ведомственного расследования», свою объяснительную записку. Недостача коркой покрывала любую радость, которая встречалась в судовых буднях. Но и садиться после вахты за машинку никак не хотелось. И я поднялся на мостик, чтобы взглянуть на Сардинию. Мы уже подходили к ней.

Капитан и старпом напряженно глядели в бинокли, но не на Сардинию, а в противоположную сторону. Там, в вечерней мгле, летели над волнами два наших военных корабля и мигали нам мощными прожекторами.

– Возьми еще левее, ну их к богу в рай! – приказал капитан.

Чем дальше держаться от вояк в море, тем спокойнее, – это знает любой торговый моряк.

– Секонд, может, ты поймешь, чего им надо?

Я только ухмыльнулся. Я вспомнил светофор, и американский корвет у берегов Южной Англии в заливе Мэн, и нашего невозмутимого капитана Каска. Кто из нас в зрелом возрасте может читать светофор из-под руки военного сигнальщика? Никто не может.

Конечно, вызвали радиста. Людмила Ивановна неумело и боязливо взяла бинокль, но уверенно, с лету прочитала: «...С наступающим Новым годом, соотечественники...»

Наши корабли получили ответное пожелание и, сильно дымя, за что следовало бысыпать их механикам, отвернули вправо в направлении Бизерты. Моим однокашникам – ведь я же сам военный моряк – было, вероятно, скучно. Несколько неспрадных слов слетело с наших губ в направлении Бизерты, но слова были довольно слабыми – рядом стояла Людмила Ивановна.

– Американцы облетели Луну, – сообщила Людмила Ивановна.

Было 24 декабря 1968 года.

Входить в порт ночью капитан не собирался. Собирался стать на якорь до хорошего, доброго утра.

Мы неторопливо плыли вдоль гористых берегов. Мы ничего не видели еще на их склонах, но знали, что там сейчас спят сосновые и дубовые леса, ниже – каштаны, оливковые деревья, миндаль и сады, усыпанные мандаринами и апельсинами.

– Глубины на подходах к Арбатаксу недостоверные. Здесь «Псков» на камни сел. Лева Шкловский капитанил, едва от крупных неприятностей отвертелся, – сказал капитан. – Ему вместо акта буксировки хотели спасательный акт подsunуть. И документы все на итальянском языке.

Я вспомнил румяного юношу Леву Шкловского. В пятьдесят третьем году вместе ходили на Дальний Восток. А вот он уже давно седой и давно капитан. Может, и сесть здесь начал – на внешнем рейде сардинского порта Арбатакс, когда итальянцы совали ему документы на непонятном языке. А переводчика присяжного нет, нашего консула нет, судно на камне, в Рим не дозвониться, время идет, и от единственного капитанского автографа зависят десятки тысяч долларов убытку, и спасательное судно демонстративно отдает буксир...

– При ветре от вест-зюйд-веста с горы срываются жестокие шквалы. С дождем, – сказал капитан. – Смотрели лоцию?

– Да.

– Ветры не так страшны – порт маленький, закрыт хорошо. Но после шквалов действует мощный тягун. За тягуном смотреть в оба.

Из узкого горла порта выходило судно. Разглядели название – «Будапешт». Вокруг «Будапешта» крутился лоцманский катерок. Нам не было дела ни до венгра, ни до лоцмана – мы его заказывали на утро.

Но лоцман из Арбатакса был иного мнения. Он традиционно поддал на венгре после окончания выводки, и ему хотелось добавить. И катерок подвалил к нам.

Мы вежливо спустили штормтрап. И в рубке появился здоровенный итальянец в куртке мехом наружу. От соединения лоцмана и куртки пахло венгерским вином и козлом.

Лоцман жаждал сразу же поставить нас на якорь.

Капитан обозлился. Он уже много раз бывал в Арбатаксе и поставить судно на якорь мог сам. На все поздравления с рождеством, которое начинало бушевать над Европой, последовало гробовое молчание капитана. Но, конечно, своего «мерзавчика» лоцман добился.

В «Энциклопедическом словаре» за 1900 год написано о Сардинии: «Крестьяне очень бедны, еще беднее, чем на Сицилии. Судами было разобрано в 1894 году исковых и спорных дел 235 420. На 100 000 жителей убийств было 24, случаев нанесения побоев и ран 271, грабежей 21, воровства 800. Приговорено судами к тюремному заключению 11 411 человек. В настоящее время в Сардинии нет ни одного поселка, который бы находился ближе чем в 10 верстах расстояния от моря, – результат постоянных нападений со стороны корсаров. В центре острова можно встретить многих людей (особенно женщин), которые вовсе не знают, что живут на острове».

Считается, что одежда из овечьей шкуры мехом наружу создает внутри микроклимат, защищает от малярии.

Утренний лоцман тоже имел вокруг себя козлиный или овечий микроклимат. Лоцман был весел и улыбочив. Он сразу дал нам понять, что сардинский язык непонятен даже итальянцам, состоит из множества диалектов и близок к латыни. Английских слов у лоцмана было процентов десять.

Но странность заключалась в том, что многое в его командах и в речи казалось знакомым, вспоминались почему-то площадь Искусств в Ленинграде, Большой Театр, Филармония и... вырезвитель.

– Пьяно, мистер! – орал лоцман. – Андестенд? Ритэнудо! О'кей! Аллегро!

И опять:

– Пьяно! Мэсто!

Капитан сказал:

– Хорошо, что в детстве интеллигентные родители учили меня, болвана, музыке. – И дал команду: – Самый малый ход!

– Меццо фортэ, плиз, мастер! – орал лоцман и бегал с крыла на крыло мостика.

– Средний вперед! – почесав в затылке, скомандовал капитан.

Казалось, что лоцман должен возглавлять музыкальную самодеятельность Арбатакса.

Бетонные и каменные молы порта уже смыкались вокруг судна, они проходили весьма близко к бортам. Невольно вспоминался Сорри-док и искры, которые мы высекли из старых английских камней.

– Анкер! Сфорцандо!

– Отдать правый якорь! И не тяните на баке! Виктор Викторович, при швартовках ваше место, кажется, на корме.

Мое место было там, но я совсем забыл об этом. Очень уж все чудно звучало на мостике. Когда я летел по трапам на палубу, вдогонку понеслось:

– Виваче! Маркато!

Двое сардов в моторной шлюпке подходили к корме, чтобы принять швартов и тащить его на причал. Они орали неизменное для всех портов мира:

– Давай-давай!

И:

– Аллегро! Пронто!

И мне показалось, что я врываюсь в «Ла Скала».

Для моряков визитная карточка страны – лоцман – таможенный чиновник – полицейский – морской агент – стивидор – докер. И главным здесь, бесспорно, является докер. Колорит нации внешний и внутренний. Что можно узнать о нации, когда считанные дни наблюдаешь чужих людей? Внешний вид и отношение к работе – вот единственное, что ты действительно видишь. Остальное – мираж.

«Отношение к работе» – я сказал неправильно. Надо было сказать: «манера работы».

К внешнему виду и манере работы я, как грузовой помощник капитана, добавил бы третью легко замечаемую характеристику: количество, качество и степень артистизма воровства. Я был в портах почти всех континентов и утверждаю, что воруют, плутуют, обманывают, врут и опять воруют всюду. Только всюду по-своему.

В шесть утра неистовый вопль доисторического чудовища вылетает из пасти целлюлозно-бумажной фабрики-комбината Арбатакса. За тысячную секунду вопль достигает своей высшей мощи, вопль вздымается над окрестными горами и встряхивает не только сардов-работяг, для которых он предназначен, ибо у последних редко есть часы, но и сами горы и суда в порту. Затем вопль делается все тоньше и отвратительнее. И в тот момент, когда ты чувствуешь, что сам сейчас заорешь, как какой-нибудь рядовой неандерталец, вопль обрывается.

Тишина сардинского утра после такого начала представляется райской.

В тишине райского утра возникает и нарастает треск мотороллеров.

Обратите внимание: лондонский докер приезжает на работу в метро или на ржавом велосипеде. Сардинский – на мотороллере. Сардинский крестьянин, живущий в селении Тортоли – а оно не очень близко от Арбатакса, – без мотороллера попасть на работу просто не может.

Первые мотороллеры – желтые, зеленые, синие – появляются на желтой дамбе, ведущей к причалу. Еще все вокруг в утренних сумерках, но цвета видны отчетливо. Воздух прозрачен. Пыхает маяк на вершине ближней горы. Корячатся на дюнах неаполитанские сосны и огромные кактусы. Прохладно.

С палуб от слегка подсушенной солнцем осины пахнет грибами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.